Фридрих Горенштейн

Улица Красных Зорь

18+

РЕДАКЦИЯ ЕЛЕНЫ ШУБИНОЙ

“После такой прозы и жить, и писать трудно: планка задана высокая, да и вещи сказаны жестокие.

ДМИТРИЙ БЫКОВ

Фридрих Горенштейн

Улица Красных Зорь (сборник)

«АСТ»

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Горенштейн Ф.

Улица Красных Зорь (сборник) / Ф. Горенштейн — «АСТ»,

ISBN 978-5-17-104183-0

Фридрих Горенштейн (1932–2002) – прозаик, драматург, киносценарист («Солярис», «Раба любви»). Прозу Горенштейна не печатали в советской России совсем, рукописи он давал читать только «ближнему кругу», в конце семидесятых появились зарубежные публикации. Ю. Трифонов, А. Кончаловский, А. Тарковский, Б. Сарнов называли его романы «Место», «Псалом», «Искупление» гениальными. Он не примыкал ни к одному движению и направлению, не находил себе места ни в одном стане, а статус классика обрел еще при жизни. В 1980 году писатель эмигрировал и умер в 2002 году в Берлине.В этот сборник вошли повесть «Ступени», впервые изданная в альманахе «МетрОполь», и три произведения эмигрантского периода: «Чок-Чок», «Муха у капли чая» и «Улица Красных Зорь», давшая название всей книге. Автор предисловия Дмитрий Быков назвал «Улицу…» «духовной автобиографией автора и самым слезным и мучительным текстом, написанным с истинно платоновской мощью».Содержит нецензурную брань.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-104183-0

© Горенштейн Ф.
© АСТ

Содержание

Дмитрий Быков 7
Улица Красных Зорь 13
Чок-Чок 41
Конец ознакомительного фрагмента. 55

Фридрих Горенштейн
Улица Красных Зорь (сборник)

Составитель Юрий Векслер

Издательство благодарит Юлия Борисовича Колтуна, чья фотография «Варварство» (Воронеж, 1966 год) была использована в оформлении книги

Фотография автора на переплёте Isolde Ohlbaum

© Фридрих Горенштейн

© ООО «Издательство АСТ»

© Isolde Ohlbaum, фото Ф. Горенштейна
© Юлий Колтун, фотография «Варварство»
© Дмитрий Быков, предисловие

***

«После такой прозы и жить, и писать трудно: планка задана высокая, да и вещи сказаны жестокие».

Дмитрий Быков

Дмитрий Быков
Сирота

Уважаемые читатели! Обычно, когда появляются книжки с предисловиями, критик сосредотачивает все свое внимание именно на предисловии – полемизирует с ним, соглашается, негодует. Все это происходит потому, что ему лень читать остальное, а в предисловии он находит как бы краткий конспект книги. Так вот, убедительная просьба при рецензировании этого сборника (а если вы не критик, то просто при его чтении) обратить главное внимание на тексты, хотя читать их гораздо труднее. Вы почти наверняка ознакомитесь с ними впервые: тут собран Горенштейн малоизвестный.

Ведь штука в чем? Когда люди говорят о Прусте, они всегда вспоминают про бисквит в липовом чае, а об «Улиссе» – о том, что Блум любил почки. Это потому, что они дальше ничего не читали. Это предисловие написано только для тех, кто ничего о Горенштейне не слышал, или слышал, но думает, что это сценарист «Соляриса», и только. Всем остальным читать это предисловие не нужно, а полемизировать с ним – тем более. К тексту, к тексту, ребята. Чтение мучительное, но целительное.

1

Однажды в гостях у Ирины Павловны Уваровой, вдовы Даниэля, во время очередного приезда Синявских (году, кажется, в 1994-м), разговор зашел о Горенштейне, и я признался, что никогда его не видел, а очень хочется.

«Сейчас увидите», – сказала Уварова и принесла какую-то маску из папье-маше. Все захохотали и захлопали: точно, точно!

У «бумажного Горенштейна» было выражение брюзгливое и даже, пожалуй, злое, но вместе с тем жалобное, почти умоляющее.

Я думаю, что читатель, у которого хватило бы терпения прорваться через поток горенштейновской ярости, скажем, в его поздней публицистике, – услышал бы за этой ветхозаветной яростью слезы бесконечного одиночества и неприкаянности.

Сам Горешнтейн об этой особенности своей души – потоке отчаяния подо льдом ненависти – писал в «Улице Красных Зорь», самой слезной и мучительной своей повести, написанной с истинно платоновской мощью: «Глаза ее были измучены злобой и страданием, а губы дергались, извивались, точно жестокая насмешка и горький плач боролись меж собой и каждый пытался вылепить из этих дрожащих губ свое, но ни того, ни другого не получалось».

«Улица Красных Зорь», давшая название всему сборнику, нечасто переиздаваемая, одна из горенштейновских вершин, – вообще его духовная автобиография, групповой автопортрет (вроде, я думаю, лермонтовской «Тамани», где автор отражен в трех зеркалах – он и Печорин, и девушка, сочиняющая песни, и слепой мальчик, всех любящий, всеми брошенный). Тоня, девочка-детдомовка, главная героиня, – это горенштейновский опыт жизни в любящей семье и детдомовских мук после смерти родителей; Мендель – еврей, проживший всю жизнь среди русских, принятый вроде за своего, но глубинно никогда не свой; ссыльная аристократка Раиса – горенштейновская злоба и отчаяние, а Ульяна – чистая и певучая душа его, и голос этой души иногда слышится в его текстах. А почему эта проза так редко издается, так немногими любима – так ведь и это ясно. После нее и жить, и писать трудно: планка задана высокая, да и вещи сказаны жестокие.

Горенштейн умер в 2002 году за две недели до своего семидесятилетия. За пятнадцать прошедших лет его «место» почти не изменилось: статус классика он обрел при жизни, когда в начале девяностых вышел его русский трехтомник и была поставлена пьеса «Детоубийца» (а в 2014 году и «Бердичев»), – любой, кто прочел «Место» и в особенности «Искупление», в этом статусе не сомневался.

Горенштейн – человек ниоткуда, и биография его – при внешней стандартности – нетипична. Всю жизнь он существовал не только вне поколения, вне любых институций, но и вне русской литературной традиции, которую принято называть гуманистической – хотя, как мы убедились, с тем же правом можно назвать и имперской.

Рано осиротев (отца, экономиста, взяли в 1935 году, в 1937-м – расстреляли; мать, директор детдома, умерла в 1943-м по дороге из эвакуации), он всю жизнь прожил сиротой, и взгляд его на мир – сиротский. Не следует думать, что сироты обязательно бедные и добрые. Они хищные, иначе им не выжить; они памятливые и мстительные, и только на самом дне их души живет тоска по прежней жизни, по родителям, которых они еле помнят, по дому с башенкой, в котором их ждало спасение. («Дом с башенкой» – единственный опубликованный в СССР до эмиграции рассказ Горенштейна, запомнившийся всем читателям тогдашней «Юности».) Сирота всю жизнь опасливо оглядывается, никому не верит, каждого встречного рассматривает с единственной точки зрения – насколько он опасен и как его можно использовать. Ключевое слово в прозе и биографии Горенштейна – «Место», не зря так называется главный его роман, книга жизни: выгрызанием этого места занят его несимпатичный протагонист Цвибышев – и сам автор тоже не находил себе места ни в одном стане.

Это сиротство Горенштейна сказалось и в том, что он не примыкал ни к одному движению и направлению, а участие в единственной за всю жизнь коллективной затее – альманахе «Метрополь» – считал ошибкой. Как говорит Ульяна в «Улице Красных Зорь»: «Я живу одна, а они живут всем скопом. Они и меня не шибко любят за то, что я не живу вместе с ними скопом». И как учит нас опыт, из этой одинокой жизни можно сделать повод для гордости и даже творческий метод, – но слёзы-то никуда не денешь. И как писала Петрушевская – самый близкий ему автор, сошедшаяся с ним в первом букеровском шорт-листе и тоже обнесенная наградой: «А все-таки болит сердце, все ноет оно, все хочет отмщения. За что, спрашивается, ведь трава растет, и жизнь неистребима вроде бы. Но истребима, истребима, вот в чем дело».

Он и в кругу писателей не очень-то прижился, выживал среди кинематографистов (Тарковский, Кончаловский), хотя первыми читателями были Трифонов, Нагибин, Б. Хазанов, критики Сарнов и Лазарев. Среди шестидесятников его представить невозможно, среди догматиков-антикоммунистов, упорных диссидентов, – тоже. Догма – вообще не про Горенштейна, и не сказать при этом, что он человек без мировоззрения: мировоззрение наличествовало, но не вписывалось ни в какие рамки, даже в религиозные.

Горенштейн – человек ветхозаветного, жестковыйного, мстительного сознания, но это ветхозаветность без Родины, без корней; он – обреченный и одинокий представитель великого племени, законник и пророк, носимый ветром, иудей после Холокоста и после советского опыта, иудей-чернорабочий, постоялец общежитий, иудей-выживалец. Это не то чтобы корректирует изначальные установки, но заставляет задуматься об их участи в мире.

Горенштейн смотрел на мир глазами потерянного ребенка, пущенного из милости жильца, который одновременно благодарит и ненавидит своих благодетелей; глазами бездомного, озирающего бесконечные ряды освещенных городских окон – он страстно мечтает оказаться в одной из этих комнат и так же страстно ненавидит эти комнаты; это взгляд обманутого и обобранного, оскорбленного и зачумленного, и смотреть на мир таким взглядом нельзя – но нельзя и не признать, что многие вещи можно рассмотреть только под этим углом. Мне трудно представить читателя, который, прочитав «Попутчиков», «Чок-чок» или «Искупление», не признает автора писателем исключительной, можно сказать – гениальной одаренно-

сти; но еще трудней представить читателя, который наряду с благодарностью и осознанием авторского величия не испытает раздражения. Потому что, как сказал Горацио, «рассматривать так – значило бы рассматривать слишком пристально».

2

Горенштейновская концепция человека поражает сочетанием сострадания, преклонения и брезгливости. В самом деле, моральные критерии, которыми Горенштейн поверяет поступки и даже мысли своих героев, – исключительно серьезны, библейски грандиозны, но в то же время человек Горенштейна жалок, склонен к разного рода слабостям, а иногда и зверствам; кажется, на проект «Человек» Горенштейн смотрит еще скептичнее, чем большинство послевоенных мыслителей, навеки ушибленных ужасами XX века. Шаламов, например, был хотя бы атеистом, – а представьте себе такого Бога, который допустил или по крайней мере запустил все это? Но для Горенштейна XX век – органичное продолжение всей предыдущей истории человечества, в которой, собственно, ничего другого и не было: сплошное избиение младенцев под разными предлогами. И уж конечно, Горенштейн совсем не гуманист, по крайней мере в современном понимании. Как сказано в «Мухе у капли чая»: «Опять его подвел дух современного гуманизма, мало общего имеющий со своим родоначальником из Ренессанса. Дух, ведущий не к укреплению, а к разрушению личности через раздачу себя хитрым нищим, через коллективизацию мировых ценностей, дух, обрекающий на поражение сильных и обрекающий на победу слабых, дух вырождения». Какое-то почти ницшеанство, причем в горьковской его интерпретации, что-то прямо из рассказа «О первой любви»: «Впервые я почувствовал себя врагом слабых людей. Впоследствии, в более серьезных случаях, мне весьма часто приходилось наблюдать, как трагически беспомощны сильные в окружении слабых, как много тратится ценнейшей энергии сердца и ума для того, чтобы поддержать беспомощное существование осужденных на гибель». Чистый Ницше, да? Но Горький-то в 1922 году еще не знал, чем кончается Ницше, а Горенштейн – знал. И вот поди ты выбери: гуманизм – вырождение, ницшеанство – фашизм… Нет, человек по Горенштейну, – неудачный, положительно неудачный проект! «Нарушено соотношение огня и глины», как писал Леонид Леонов – которого Горенштейн скорее всего никогда не открывал.

Можно, конечно, отделаться замечанием, что во всем виновата плоть, а дух-то у нас ого-го, и «Чок-Чок» как будто дает некоторые основания для такого взгляда. Вещь эта так отпугивала издателей, что из всех толстых журналов ее решилось опубликовать только «Искусство кино», опекавшее Горенштейна, так сказать, из профессиональной солидарности (его легальная профессия – кинодраматург, в СССР он был известен исключительно как соавтор сценариев «Соляриса», «Рабы любви» и «Седьмой пули», плюс не обозначенные в титрах монологи Рублева в фильме Тарковского; в эмиграции он этого дела не оставлял, написал отличные кинороманы об Унгерне и Шагале, но их до сих пор не поставили). Потом, правда, эта повесть вышла отдельной книжечкой в издательстве журнала «Звезда», в серии «Художественно-Уникальные Издания».

Можно подумать поначалу, что «Чок-Чок» – именно о бремени плоти, о том, как отвратительно то, что мы называем страстью; но и любовь в самом ее чистом виде ничуть не лучше. История чистой любви героя к юной чешской балерине ничуть не краше, да больше того – она еще смешней. Редкий читатель забудет фразы типа «Пусть у тебя будет красный живот» или «Ты лижешь, как тля краве» (иногда кажется, что такого и не выдумаешь). Человек у Горенштейна жалок почти всегда – когда любит, когда надеется, даже когда пишет (стоит вспомнить оголтелую графоманию героя «Попутчиков» и, для полноты чувств, первую фразу оттуда, цитировать не буду специально, в сети все доступно).

Неудачный проект – вторая по значимости тема Горенштейна (тесно связанная с первой, то есть с поисками места); и действительно, глядя с известной высоты – с той высоты, с которой смотрит, например, Дан, Аспид, Антихрист из романа «Псалом», – нельзя увидеть ничего иного. Причина стойкого недоверия Горенштейна к христианству, дух которого ощущается у него очень редко, а может, и не ощущается вовсе, разве что в сентиментальном рассказе «С кошелочкой», да и там он снижен иронией, – именно в этом: он против того, чтобы давать человечеству иллюзии насчет его значимости и тем более добродетелей. Сплошная органика, иногда мыслящая, но по большей части дрожащая. И даже герои «Бердичева» – самого нежного и ностальгического его произведения, написанного с бабелевской речевой чуткостью, – вызывают отнюдь не умиление – положим, Горенштейн способен любить их, и даже не отделять себя от них, но эта любовь приправлена изрядной долей скепсиса, уксуса, желчи.

Рискну предположить, что весь мир у Горенштейна делится на евреев и антисемитов – не по национальному, конечно, и даже не по религиозному признаку; антисемиты не вызывают ничего, кроме ненависти, а евреи на каждом шагу предают свою богоизбранность и описываются с насмешливым состраданием. И когда речь идет о русских или немцах – скажем, в двухтомном романе «На крестцах», – деление примерно то же, только в функции евреев выступают одиночки, изгои, творцы, летописцы. И они по большому счету недалеко ушли от своих мучителей. (В кинодраматургии Горенштейна – скажем, «Под знаком тибетской свастики», – этот взгляд на вещи тоже присутствует, но там Горенштейн честно решал профессиональную задачу; для себя он писал жестче.)

Особая тема – его отношение к русским, к русскому характеру и культуре; по нынешним временам его, пожалуй, еще и запишут в русофобы, забывая, что о сострадании, силе, сердечном веселье русских, о неисскаемом милосердии русских женщин и великолепном бесстрашии мужчин он написал едва ли не лучше всех современников. Но о русских он пишет как равный, а не как чужак, пытающийся подольститься. Он имел право на горькие слова, вложенные им, правда, в уста несимпатичной героини, вдобавок припадочной, – Раисы из «Улицы Красных Зорь» (Леонов говорил Чуковскому: отдавайте заветные мысли отрицательным героям, тогда выживете): «Мой брат был православный, верил в русского Бога, а мне это азиатское христианство не по душе… Не люблю русских, ненавижу русских. Народ грубый, злой, а если доброта, то юродивая». Под горячую руку и не такое скажешь, но не забудем, что проза Горенштейна – стихия русской речи, ее мощная река, и ритм, дыхание ее – не просто русские, а фольклорные, и основные мотивы – рок, предзнаменование, ожидание, – тоже фольклорные, и при всем своем знаменитом местечковом выговоре Горенштейн писал по-русски органичней всех в своем поколении, потому ему так удавался сказ.

Трудно вообще ответить, кто на него повлиял, – он как бы писатель без корня, без предшественника, потому что никто не бывал на его месте и не прошел по его адским кругам; пожалуй, он наряду с Окуджавой – чьи предшественники тоже неочевидны, – мог бы назвать своим учителем фольклор. И символично, что оба эти создателя подлинно народных текстов – один сочинял народные песни, другой писал страшные и грустные народные сказки, – были настолько вне народа, так упорно и заслуженно слыли одиночками. Одиночками они и были, потому что народные песни поются скопом, а пишутся изгоями. Горенштейн – народный писатель без народа; народу долго еще дорастать до него, но дорастет, куда денется. Об этой «народности без народа» сам он исчерпывающе сказал в «Мухе»: «Стоит русскому сойти с ума, как он становится испанцем, наподобие гоголевского Поприщина. Однако же испанцем без Испании, где крайности радости и страдания имеют свою национальную психологическую основу». Горенштейн такой основы не имел – это отравило его жизнь, но сделало его гением. А сколько их остальных развелось с основой – не продохнуть.

3

Несколько особняком в корпусе его сочинений стоят «Ступени» – та самая повесть, которую он отдал в «МетрОполь» и потом раскаивался. Получилось так, что «МетрОполь» составлялся по остаточному принципу: туда давали всё, что не печаталось здесь, но и то, что было слишком маргинальным, или безумным, или экзотичным, чтобы напечатать «там». Получился интересный срез позднесоветского безумия – заведомо несценичная, издевательская пьеса Аксенова, черно-иронические рассказы Искандера, наиболее радикальные эксперименты Вознесенского.

«Ступени» – вещь гротескная, даже, пожалуй, абсурдистская, но она лучше всего передает страшную духоту поздних семидесятых, хотя и написана в 1966 году. Это время религиозных увлечений и паранормальных экспериментов советской интеллигенции – спиритизм, описанный у Трифонова, йога, описанная у Высоцкого, пророки и самозваные целители, зафиксированные в маканинском «Предтече», – презрительно и насмешливо описано в замечательном романе Владимира Кормера «Наследство», вещи столь ядовитой, что и диссиденты его приняли настороженно. Об этом же пишет Мамлеев, сам – порождение той эпохи, создатель «Южинского кружка»; и вот «Ступени» – как раз про это. Это уродливая вещь об уродстве (и юродстве), о том, в какие больные формы воплощается подпольная вера, как выглядит подпольное народничество, во что вообще обратилась русская интеллигенция в условиях тотального запрета. Многое здесь предугадано, вплоть до «оскорбления чувств верующих». Здесь много бреда, безумия, навязчивых идей, это по-настоящему больная книга, самая мамлеевская у Горенштейна, книга о том, как умирает русская душа – Зина; но эта душа такая юродивая, такая затравленная, что и сострадать ей трудно. Все герои производят впечатление либо безумных, либо слепых, либо глухонемых – да так оно и есть: безумен главный герой, в монастыре живет и работает артель глухонемых, а слепец доказывает всем, что слепота – идеальное состояние, а зрение только мешает восприятию красоты. Всё это на фоне всеобщей сексуальной озабоченности, ибо иных проявлений творческого начала не осталось. Герой «Ступеней», врач, говорит, что кончилось время воздуха и наступило время желчи; желчь и дальше будет преобладать в воспоминаниях Горенштейна о Родине, и после «Ступеней» особенно ясно, что не покинуть ее он не мог.

Очень может быть, что «Муха у капли чая», где человек, по определению Жоржа Нива́, «восемь лет провел в рабстве у злой и истеричной женщины», – тоже духовная автобиография, и сам автор, проведя в рабстве у России большую часть жизни, на свободе оказался в еще более безвыходном положении. И описывая свою российскую жизнь, Горенштейн, может статься, был прав: «Теперь, с многолетним опозданием, он понимает свою ошибку, неизбежную ошибку христианина-миссионера, пытающегося проповедовать там, где нужна лишь лопата могильщика». Кто из русских, особенно в нынешние, уже пост-горенштейновские, но предсказанные Горенштейном времена, – не думал иногда так? (Весьма интересно, что действие этой повести происходит удушливым летом 1972 года – тогда же, когда и трифоновский «Старик»: многим запомнилась та жара, многим внушила апокалиптические мысли. «Горит земля под ногами», как говорит в «Мухе» та самая истеричка.) Это же точно о нынешней России сказано: «В решающий момент ей легче снять с себя тысячелетние наслоения культуры, если того требует подлинный Хозяин, зовущий ее из Бездны». По Горенштейну, подлинный хозяин – женщины и России – обитает в бездне, и надо ли уточнять, как его зовут? Проблема в том, что после избавления от женщины – или Родины, – герой Горенштейна попадает в еще более глубокие бездны, и хотя творческая жизнь его как бы налаживается (именно как бы, потому что его продолжают не понимать и вдобавок цензурировать), но покоя нет ему и там. «Зеленый стебель легенды», который предлагает ему в финале Горенштейн, – утешение сомнительное.

Пожалуй, самый наглядный пример горенштейновского стиля и взгляда – не фрагменты из прозы, а вот такой пассаж из одного позднего памфлета: «Считается, что послевоенная Боннская республика – образец преодоления своего прошлого, и должна служить примером другим странам, в частности, России в ее преодолении сталинизма. Нет ничего более далекого от истины. Боннская республика как раз может служить примером того, как это свое прошлое можно умело, даже талантливо, скрыть. То есть, что значит «скрыть»? Это значит разоблачать его по-своему, менять точку зрения, переставлять акценты. (…) В рокоте громкого разоблачительного гнева чуткое ухо может уловить сопутствующий шепоток: немецкий народ, массовый Michel в солдатской шинели к этим лагерям никакого отношения не имеет. Можно обратить внимание еще на один метод разоблачения своего прошлого, применяемый с аденауэровских времен: объединение своих жертв с чужими. Своеобразная игра в «ничью». А при умелой расстановке акцентов тут можно получить даже перевес. (…) Для международного гитлеризма Германия по-прежднему остается «святой землей», «коричневой Палестиной». И немцы должны это понять. И немцы должны жить с этим, как человек живет со своими хроническими болезнями. Если Франция может переварить существование Национального Фронта, то Германия себе такой «роскоши» позволить не может, даже ради существования демократических свобод. Однако позволяла и позволяет».

Правда ведь, как вчера написано? И завтра будет еще актуальней! А посетил бы Горенштейн (он всегда приезжал с неохотой, но не мог вовсе оторваться от России) нынешнюю Москву, или нынешний свой родной Киев, – что бы он увидел и что бы подумал?!

Надо только перестать наконец утешаться, что литературу можно делать из компромиссов; нельзя. Пусть даже литература, получившаяся без компромиссов, будет находить своего читателя годами; скажем, последний роман Горенштейна «Веревочная книга» не только до сих пор не опубликован, но и элементарно не расшифрован (именно так, расшифровкой, называется процесс чтения его трудночитаемого почерка). Горенштейн – это первоклассный, не будет преувеличением сказать – великий писатель; но чтение его – ни минуты не скучное – остается тяжким трудом, мучительным преодолением собственных страхов; да, ни в чем не уступая знаменитым современникам, а кое в чем их решительно превосходя, он остается по-прежнему далек от массового читателя. Да, в России его теперь уже печатают и цену ему знают, и эта книга, будьте уверены, тоже не будет пылиться на полках. Да, смотреть на мир с точки зрения ничего не прощающего сироты, мальчика из разбомбленного эшелона 1941 года, – невыносимо; но очень может быть, что именно такой взгляд на мир по-настоящему правдив. Вы скажете, что с таким взглядом на вещи жить нельзя; это не совсем точно. Счастливо жить нельзя, легко – тоже; но кто вам сказал, что жить вообще надо легко?

…Иногда я думаю: что, если после смерти действительно есть рай или ад, – неужели Горенштейн не заслужил рая после всего, что здесь перенес? Неужели там его не встретят отец и мать, и не кончится его многолетнее невыносимое сиротство? Но с другой стороны, после такого опыта, – есть ли хоть какое-то иное «место», где он мог бы утешиться, примириться и простить?

То-то и оно.

Улица Красных Зорь

1

Улица Красных Зорь была главная и единственная в поселке. От нее отходили неглубокие тупички в несколько домов каждый. В ширину поселку расти некуда было. С одной стороны – железная дорога, узкая колея от мочально-рогожной фабрики, рядом с ней – грунтовка, а за дорогами – лес, сосняк-брусничник на сухом песке. Другая сторона была речная, и крайние дома тупичков стояли на обрывистом берегу реки Пижмы. За Пижмой, на суглинистой влажной почве, – сосняк-черничник. Этот лес был пострашней, и ходить туда за черникой в одиночку, без поселкового народа, было опасно. Чем далее, тем угрюмей становилось, и деревья выше, сильней: сибирская лиственница, кедр, пихта – деревья таежные. В самой чаще лес заболочен, почва торфяная, и из мхов, из лесных злаков росли ели, ольхи, березы, осины, хвощи, осоки. Но это совсем уж далеко от улицы Красных Зорь, и Тоня о тех страшных местах только слыхала, однако никогда там не была, хоть в поселке на улице Красных Зорь жила давно, лет шесть, с тех пор как родилась.

Тоне казалось, что в болотистых местах и прячется самое страшное слово для поселковых – амнистия.

Поселок был последним пунктом, ближе которого ссыльных к Москве не пускали, и, когда случалась амнистия, начинались грабежи и убийства. Другое страшное слово – война – было далеко, на краю света, и могилы военные были далеко. Вместо убитого человека присылали бумажку, и взрослые эту бумажку оплакивали. А амнистия жила хоть и далеко от улицы Красных Зорь, однако в этой местности, в болотистой чаще, и жертв ее хоронили в сосновых и еловых гробах на поселковом кладбище у сосняка-брусничника. К тому ж амнистия пришла тогда, когда война кончилась и стала неопасной. Сама Тоня, правда, амнистии не помнила, но слышала, как взрослые – Тонина мама Уля, и тетя Вера, и муж тети Веры дядя Никита – вспоминали про кассира с мочально-рогожной фабрики, которого нашли в Пижме без головы, и про семью Ануфриевых, которую зарезали и обокрали. Зарезали всех, кроме парализованной бабушки. С бабушки только сняли одеяло, вытащили из-под головы подушку, а из-под бабушкиного тела – простыню. Но когда амнистированных переловили, время стало спокойное, хоть и голодное.

С тех пор как Тонин отец уехал от них, мама Тони и трехлетнего Давидки работала на станции, мыла товарные вагоны. Уйдет – оставит на столе миску с пареной свеклой, а рядом – чугун с соленой водой. Поедят дети свеклы, попьют соленой воды и лезут на печку. Как и во всех поселковых домах, в Тонином доме была большая русская печь с лежанкой. А меж окон висело зеркало, в которое Тоня любила смотреть, и на зеркале – много бус, нанизанных на нитку, красивых, разноцветных, которые Тоня любила перебирать. На подоконнике стоял цветок в горшке, который весной красиво расцветал, а в углу висела балалайка с красным бантом. Балалайка досталась Тониной маме от ее отца, дедушки Григория.

Тонина мама, Ульяна Зотова, была поселковая красавица и певунья. Тоня любила, когда мама в сорочке до пола расчесывала перед зеркалом свои светло-русые косы гребнем пепельного цвета с ручкой, а она, Тоня, сидела рядом, прижимаясь к теплому мягкому материнскому телу. К Ульяне Зотовой многие сватались в поселке, но вышла она замуж за Менделя, рыжего еврея из сосланных, и родила от него двоих детей. Мужа она любила и, когда была в хорошем настроении, то звала – Мендель. Но когда ссорилась с ним или была в плохом настроении, то звала Миша. Работал Мендель шофером на мочально-рогожной фабрике, начальство его ува-

жало, поскольку был он умеренно пьющий, и после того, как кончился срок его ссылки, предоставило ему оплаченный отпуск. Мендель уехал к себе на родину, на Украину, потом вернулся, увидел здешнюю нищету, от которой он за месяц жизни у своих родственников отвык, увидел двух малых детей, жену, простую таежную бабу, взял расчет и опять уехал. Поступил так, как ему родственники советовали.

– И хорошо, – успокаивала Ульяну ее сестра Вера, – не нужен тебе еврей-жид.

Но Ульяна отвечала:

– Я Менделя люблю, все равно он ко мне вернется.

Когда говорила про Менделя, то всегда улыбалась чуть-чуть, уголками губ, таинственно, точно знала про него такое, чего другие не знали.

– Я знаю, – говорит, – что нам с Менделем вместе через реку по жердочке еловой идти. Вместе по досточке сосновой. Мне на станции ссыльная цыганка нагадала. А вместе по жердочке через реку – это любовь до гроба.

Про Менделя говорила только с улыбкой, но когда пела, то плакала. Поэтому петь старалась не при детях, а в одиночестве.

Подросла Тоня, и Ульяна начала пускать ее погулять с меньшим Давидкой, но наказывала далеко от дома не идти. К брусничнику не идти, потому что там поезда проезжают, а по грунтовке – телеги и грузовики-полуторки. К черничнику – тем более: мост подвесной через Пижму шаткий, малому, некрепкому свалиться можно. А не свалишься, перейдешь – и того хуже. Хоть амнистированных всех давным-давно переловили, но кто знает, может, какой засиделся в чаще, на болоте. Говорят, недели две назад краснопогонники в черничник нагрянули с собаками, кого-то искали. А дедушка Козлов, дом которого самый дальний с речной стороны, слыхал ночью в черничнике выстрелы, да не двуствольные охотничьи – из нарезного оружия. Поселковый народ, особенно старый, в таком деле понимал и умел отличить гулкий охотничий хлопок от короткого, ясного голоса военного карабина. Потому Ульяна, отпуская детей, наказывала гулять только по улице Красных Зорь. Была, правда, и на улице Красных Зорь для детей опасность, о которой шептались поселковые женщины, – дядя Толя.

Дядя Толя жил в поселке давно, с незапамятных времен, но на поселковых похож не был; поселковые его старались избегать и детям своим наказывали с ним не говорить, а если заговорит, то не отвечать и ничего у него не брать. Дядя Толя был высокого роста, худой, в пенсне. Любил он с детьми на улице заговаривать и гостинцы им дарить, а бабушка Козлова, и тетя Вера, и другие поселковые женщины шептались, будто дядя Толя детей, которых гостинцами подманивал, колол иголочкой и от этого они помирали. Будто шестилетняя дочка Митяевых от иголочки померла. Куда-то писали, жаловались, но жалобу оставили без последствий и разъяснили: дочка Митяевых померла, мол, не от каких-то иголочек, а от скарлатины. Однако женщины продолжали шептаться и хотели писать в Москву Сталину жалобу на местное начальство, при котором дядя Толя работал садовником. Дядя Толя жил в единственном на весь поселок трехэтажном каменном доме у мочально-рогожной фабрики. В доме этом помещался также поселковый совет и фабричное управление, а вокруг дома был сад, огражденный высоким забором.

Ульяна не верила шепоту поселковых, по своей сестре судила и понимала, что верить поселковым нельзя, однако на всякий случай все ж наказывала детям, если увидят дядю Толю, идти прочь, ничего не брать у него, с ним не говорить и ему не отвечать.

Отправит детей, завесит окна черными шторками, возьмет отцовскую балалаечку и поет в одиночестве, сама себе, чтоб поплакать и облегчить сердце. Песни пела грустные, но сладкие. Начинала с «У муромской дороги».

У муромской дороги стояли три сосны,
Прощался там мой милый до будущей весны.

Недавно мне приснился тяжелый страшный сон,
Мой миленький женился, нарушил клятву он.

И когда пела, так сладко плакалось. Понимает: скоро дети придут с прогулки, пора умыться да утереться, а все не может остановиться, плачется и поется, поется и плачется. Вдоволь наплачется, и веселей становится, вспоминаются песни, которые певал ее покойный отец, Григорий Зотов, под эту балалаечку. «Три ключи» споет.

Три ключи золотые
На адовой на ленточке,
На фарфоровой тарелочке,
На дубовом столике,
На фабричной салфеточке.

И конечно же, любимую, свадебную плясовую «Жердочка еловая, досточка сосновая». Поет и приплясывает. Уж повеселела, уж улыбается, а из веселых глаз слезы по-прежнему текут. Случилось, в таком виде ее дети застали, дверь забыла запереть. Детям всегда страшно видеть свою мать плачущей, особенно когда плачет она одна, сама по себе, по-детски, не делясь ни с кем своим горем. Испугались дети, заплакали, но мать успокоила:

– Это я лук резала, глупые, сегодня будем похлебку есть с картошкой и пшеном.

– А мне хлеба хочется, – говорит Тоня, – я по хлебу скучаю.

Взяла тогда Ульяна Тоню на руки и поднесла к календарю отрывному за 52-й год. Календарь этот к репродукции с картины был укреплен – Сталин в полный рост в военном мундире и военной фуражке.

– У Сталина хлеба проси, – говорит Ульяна.

Начала Тоня просить хлеба у Сталина, просила, просила, потом говорит:

– Мама, Сталин не отвечает.

– Ну вот видишь, – говорит Ульяна, – даже у Сталина хлеба нет, а ты у меня просишь.

Мытье вагонов – работа тяжелая, а платят мало, как за неквалифицированный труд. Приносила Ульяна домой деньги и говорила Тоне:

– Давай аванс делить.

Садились за стол и начинали делить. Ульяна раскладывала деньги и приговаривала:

– Это на то-сё… А это на еду.

Тоня брала деньги на еду, перебирала рублевки, червонцы и говорила:

– Я буду аванс кушать.

Седьмого апреля, в день рождения Ульяны, заехали тетя Вера и дядя Никита, гостинцев привезли, а встретить гостей нечем. Постелила Ульяна на стол чистую скатерку, поставила миску жареных семечек. Все сидели лузгали семечки, а шелуху с пола Тоня подметала. Тетя Вера и дядя Никита были не поселковые, а совхозные. Не очень далеко, но все ж поездом ехать надо или по грунтовке на полуторке. Можно, конечно, и бесплатно, пешком по шпалам, но в летнюю погоду. Лето здесь теплое, хоть и короткое, а зима суровая и долгая. Только в мае начинает лед на Пижме ломать. Седьмого апреля пурга была, улица Красных Зорь вся в сугробах, а в доме тепло, уютно, взрослые все выпившие, дядя Никита в особенности. Конечно, тетя Вера дяде Никите много пить не позволяла из-за склонности к алкоголизму, но при закуске семечками и полстакана самогона хватало.

Выпил дядя Никита и начал опять про Молотова, как уже бывало.

– Молотов, – говорит, – Молотов… Ненавижу, – говорит. – Я мальцом у купца работал, отца Молотова. Порядочный человек, он сына своего проклял.

А Ульяна, мать Тони, русская добрая женщина, за Молотова заступается:

– Он не виноват. Зачем его ругать? Его назначили. Он же должен где-то работать.

– Ох, беда моя, – говорит тетя Вера, – как увидит Дом культуры имени Молотова или проезжали мы Молотовск, так прямо при людях ругается и проклинает. Как еще цел, не знаю. Семью имеет, пятеро детей.

А Ульяна, мать Тони, чтоб семейный скандал унять, говорит:

– Хватит вам посторонним себя расстраивать. Вот Тоня сейчас вам кабардиночку спляшет, развеселит.

Все в ладоши хлопают: асса! – а Тоня танцует. Ульяна не налюбуется, на дочь глядя, и, тоже подвыпивши, говорит:

– Звездочки мои небесные, – говорит, – детки мои, Тоня и меньшой Давидка. Вот погодите, – говорит, – новые цеха открывают при мочально-рогожной фабрике – веревочный да войлочный. Устроится мать ваша на хорошую работу, купит подарков: сарафан праздничный, калоши новые. Тоня у меня девочка умненькая, добренькая, тороватенькая.

«Тороватенькая» на местном наречье значит – «щедрая». Слышит Тоня такие похвалы себе и еще лучше танцует, старается. Кончила танцевать, тут мать ей вопрос задает, чтоб похвалиться гостям, какая у нее дочка уже взрослая и умная.

– Кто ты есть, – спрашивает, – какого возраста и где проживаешь?

– Тоня Пейсехман, – отвечает, – шесть лет. Улица Красных Зорь, дом десять.

Вдруг тетя Вера как разозлится:

– Какая ты Пейсехман! Ты Тоня Зотова.

А дядя Никита, чтоб только с тетей Верой поспорить, говорит:

– Правильно, одобряю. Она фамилию сменила, чтоб товарные вагоны не мыть, как мать ее, и чтоб на тракторе не надрываться, как дядька ее с рассвета допоздна в мазуте и тавоте. Отец ее, Миша, шоферюга, может, самый дурной из них. У него брат родной кто? Доцент всесоюзных знаний, вот кто.

Тут Ульяна как крикнет:

– Ты Менделя моего не тронь! Не позорь отца при ребятах.

– Какой же он отец им, – говорит тетя Вера, – если сбежал. Ты б лучше на алименты подавала, чем грязные вагоны скоблить. Погляди на руки свои. Тебе только двадцать семь, и статная, нашей породы. Тебя и с двумя детьми возьмут. Вот Лука Лукич, главбух наш совхозный, вдовец, герой войны, к тебе интерес имеет.

– Нет, – отвечает Ульяна, – я Менделя люблю. Вернется он ко мне.

– Когда вернется, – спрашивает Вера, – письмо от него, что ли, получила?

– Я и без письма знаю. Будущей весной вернется.

– Это она из песни своей придумала, – засмеялась Вера. – Пойдем, Никита, пойдем. Пора уж, а то детей на суседку оставили. Пора уж… А ты, Ульяна, сестрица, гляди, как бы при твоем упорстве слезами не облиться.

На такие слова тети Веры Тоня рассердилась, затопала ножками и крикнула:

– Ты Менделя нашего не тронь!

– Вот, значит, чему тебя твоя маманя учит-балует, – говорит покрасневшая тетя Вера. – Гляди, глупых детей дядя Толя иголочкой колет.

И ушли, не попрощались. Вера даже на пороге плюнула. Однако потом помирились и в гости к себе пригласили, в совхоз. Это уж летом, правда. Но с детьми раньше лета все равно в совхоз не выберешься.

Дни стояли погожие, лето теплое, а у Ульяны как раз двухнедельный отпуск подоспел. Посоветовались Ульяна с Тоней и решили: пешком пойдем по шпалам. Пораньше встанем, с передышками пойдем, еду, какая есть, с собой возьмем. По дороге в брусничнике малинки нарвем, как раз подоспела, водицы из ключа попьем.

Утро было чистое, солнечное, облака легкие и высокие, как всегда в погожие дни. А меж облаков – такие же легкие и высокие птицы. Лесные или поселковые птицы шумят, а этих не слышно – истинно небесные птицы.

– Это жаворонки, – говорит Ульяна. – Вот мы сейчас у них здоровья попросим.

Стала, подняла голову и заговорила:

– Ой вы, жаворонки, жавороночки. Летите в поле, несите здоровье. Первое – коровье, второе – овечье, третье – человечье.

– Они ведь высоко, – говорит Тоня.

– Ничего… Они добрые слова сердечком слышат.

Пошли дальше. За переездом началось ржаное поле. Ульяна поцеловала колоски и, взяв детей на руки, велела и им целовать колоски.

– Ржаной колосок – медовый пирог. Приехал на сохе, на бороне, на кобыле вороне.

Хорошо, весело, красиво вокруг, и по шпалам легко идти. Поезда редкие, раз только пропустили, и по грунтовке изредка полуторка пыль поднимет или телега прогрохочет. Люди совсем уж редко навстречу попадаются. Шли мимо поля – ни одной живой души. Уж миновали поле, когда из брусничника по тропке бабушка Козлова с полным кузовом лесной малины. «Куды да раскуды?» Сели вместе передохнуть.

– День какой солнечный, – говорит Ульяна, – лето славное. Вот рожь как поднялась. С хлебом будем.

– Верно, – смеется бабушка Козлова костяным белогубым ртом, – был бы хлеб, а мыши будут. И мышь в свою норку тащит корку. Мышей развелось невидимо. Это к голоду, к беде. Я, еще солнца не было, иду, а мыши развозились и пищат, беду закликают. А ты далехонько?

– В совхоз, к сестре.

– К сестре – хорошо. Только в брусничник глубоко не ходи. У моей кумы тесть молодой, а уже в чинах. Кажись, главный лейтенант. Так говорит – поберечься надо.

– От чего поберечься, бабушка?

– От чего? – И опять костяным белым ртом щелкнула.

Дети дружно заревели.

– Ты, бабушка, детей мне не пугай, – говорит Ульяна, – иди своей тропкой, а мы своей дальше пойдем.

– Ты не торопись, – говорит бабушка Козлова, – ты молодая, тебе беречься – не мне. Хоть и старым беречься не грех. Вон Саввишна Котова, моя одногодка, в черничник ходила. Черницы захотела. И встретили ее у мохового болотца два огольцы. Говорят, подымай, бабуся, сарафан. Зачала она их стыдить да ублажать: «Вы молоды, вам молодка потребна». Так, думаешь, они Саввишну послушали?

– Пойдем, дети, – говорит Ульяна, – пора нам. Тетя Вера да дядя Никита ждут.

– Ребят пуще себя береги, – кричит вслед бабушка Козлова, – дядя Толя иголочкой колет, а сестра его Раиса, волосы длинные, на крови пельмени варит.

«Чтоб ты сдохла, щука старая», – подумала про себя Ульяна и скорее прочь пошла. Тоне велела за юбку держаться, а меньшого Давидку на руки взяла. Но уж день не таким чистым казался и за малинкой в брусничник идти перехотелось, хоть дети клянчили.

– Лучше скорее в совхоз доберемся, там с народом совхозным за малинкой сходим.

Но дорога неблизкая, умаялась Ульяна меньшого Давидку на руках нести, умаялась Тоня ножками топать по шпалам. Было уж за полдень, утренние облачка улетели, и в бесконечном небе остались только солнце да жаворонки. Начинался зной, солнце пекло, а еще сильней солнца пекло от шпал и гравия, покрытых черными мазутными пятнами. Душный запах мазута глушил лесные и полевые запахи. Хорошо, грунтовка свернула и унесла свою пыль к понтонному мосту через Пижму. Ульяна решила держаться железной дороги, которая выведет прямо к совхозу. Да и безопасней, чем к брусничнику спуститься. Дорога пошла на закругление, и

уж солнце светило в спину, а сосняк-брусничник был с обеих сторон. Перекусить бы, попить, но боязно было среди леса с обеих сторон. Наконец вышли к Пижме. Шли в другую сторону, а вышли все к той же реке, потому что Пижма – река длинная и извилистая. Здесь уж было людно, слышались людские голоса, у пристани причалена была баржа и плоты сплавщиков. На барже сушилось белье, а какие-то подростки ради баловства, видать, жгли на отмели смоляную бочку.

– Ну вот здесь мы и перекусим, – сказала Ульяна, – здесь и со шпал сойти можно. От дороги железной отойти. Здесь место людное. Расстели, Тоня, скатерку, я сейчас на пристань за водой схожу.

– Из ключа попить хочу, – заныла Тоня.

– Попьешь и водопроводной, – сердито сказала Ульяна, – ключ в сосняке остался, который мы миновали. Слыхала, какие страхи бабушка Козлова рассказывает.

Пристань называлась «Поселок Светотехстрой». Никакого поселка еще не было, но земля во многих местах была очищена от травы и лежало много срубленных деревьев.

Перекусили спеченными накануне Ульяной холодными блинами из пшена и ржаной муки, а для Тони и Давидки Ульяна припасла на закуску яблочко, каждому половинку. Попили водопроводной воды, пахнущей речной тиной. После того как перекусили и попили, не сразу пошли, а еще посидели.

– Ты почему на бабушку Козлову «щука» сказала? – спросила Тоня.

– Вот те раз, разве я сказала? – удивилась Ульяна. – А сказала – тоже не беда. Щука – рыба умная, она своими острыми зубами все болезни и все беды загрызает. Если укусит невзначай – пенять нельзя, за дело укусила. – И, увидав, что ребята от усталости приуныли, от еды разомлели, а дорога еще не кончилась, пропела, чтоб подбодрить: – Щука шла из Новгорода. Она хвост волокла из Бела-озера. Как на щуке чешуйка серебряная, что серебряная, позолоченная…

2

В совхозный поселок пришли уж под вечер, усталые, запыленные, потные и продрогшие, поскольку, когда побагровевшее солнце пошло на закат, от леса и Пижмы потянуло холодом, а одеты-то все по-летнему: на Ульяне легкая кофтенка и юбка, на ребятах платьица. Меньшой Давидка, хоть мальчик, тоже платьице носил старое Тонино.

Совхозный поселок быстро разрастался, и дома здесь все были свежие, недавно сложенные, а улиц много, не то что одна – Красных Зорь – да тупички. Зато каждый тупичок на другой не похож, а здесь улицы как одна мать родила. Хоть была Ульяна у сестры не однажды, но с трудом нашла. Подходит Ульяна к дому, узнаёт по воротам да по резной фигурке над кровлей, которую дядя Никита вырезал и прибил, узнаёт и нажимает звонок. Не отпирают. Тогда стучит. Не отпирают. Что за страсть? Уж беспокоиться начала. Но в окнах свет – значит, дома. Опять звонит и стучит. Зинка, старшая, отпирает.

– Тетя Ульяна? Мама еще с работы не пришла.

– А отец?

– Папаня есть, только он спит. Вы проходите.

Проходит Ульяна с ребятами в дом и видит такую картину. Никита лежит на полу навзничь с открытым ртом и храпит пьяным храпом. Штаны, пиджак, рубашка – все мокрое и грязное, точно он долго в канаве плескался. Ноги босы и тоже грязны, а рядом ботинки, облепленные комьями грязи, в грязной лужице мокнут. Лицо разбито, в запекшейся крови и засохшей грязи. А вокруг него ребята возятся все пятеро, оравой: Зинка, Бориска, Сергейка, Матвейка и меньшой – Влас, Давидкин ровесник. Мочат ребята тряпицы в ночной горшок и тряпицами этими отцу лицо обтирают. Тут же кот Барсук трется, слушает с любопытством храп, подойдет,

понюхает открытый Никитин рот, понюхает и лапками на полу у Никитиной головы закапывает, понюхает и закапывает. Всплеснула руками Ульяна.

– Ах ты чертова беда.

Попробовала перетащить Никиту на лавку – тяжелый. Набрала миску воды, обмыла лицо, нашла йод – смазала ссадины. Ребята всей оравой, теперь уж всемером, ей помогали. Смех, визг, толчея – весело. Пока так возились, Вера с поля пришла. Увидела – ничего не сказала, только рукой махнула. Перенесли сёстры Никиту на лавку – пусть храпит. Вера одежду стащила грязную в стирку, все привычно, все как водится. Управилась и стала на стол накрывать; сели ужинать. Поужинали сытно: грибами вареными и хлебом, а на сладкое – лесной малиной. Поужинали и спать легли. Вера ребятам всем вместе на полу постелила. Ульяна с Верой в кровать легла, а Никита так до утра на лавке и прохрапел. Точнее, до рассвета. Когда проснулись – его уж не было, уж давно на тракторе своем. Потому и ценили в совхозе: пить пьет, а в работе не подведет. Утром уселись всей оравой за стол, поели холодца.

– Я кость от окорока варю, когда достану, – говорит Вера, – шкурки, кусочки хрящика. Ребята любят, и мой поест тарелку, трехлитровую банку кваса выпьет и доволен. Его если хорошо кормить, он меньше пьянствует, только иногда срывается. А иной раз я кость с горохом варю.

Потом поехали в поле, на покос. Было очень красиво, много людей, и в большом котле варился вкусный обед. Ульяна пошла вместе с Верой трудиться. Серпом работать умела, хоть и отвыкла. Работа нелегкая, с непривычки особенно, но радостная. Не то что грязные вагоны мыть. От земляных запахов кружится голова и петь хочется.

– Петь здесь можно? – спрашивает Ульяна.

– А чего ж нельзя, – отвечает Вера. И запели в два голоса:

– А на шейке-то платок, точно аленький цветок, а в кармане-то другой – итальянский, голубой…

– Продавай дом, переезжай в совхоз, – говорит Вера, – я тебе уж давно советовала, да ты все думаешь, будто я свою половину денег тороплюсь получить.

– Жалко, – говорит Ульяна, – отцовский дом. Да и Мендель вернется – куда ему в совхоз? Он на мочально-рогожной фабрике опять работать захочет, его там начальство любит.

– Что тебе этот Мендель, – сердится Вера, – чем тебя этот Мендель к себе прилепил? Он уж и думать про тебя перестал, он уж, поди, давненько с Сарочкой живет. Ты лучше про Луку Лукича думай, если не ради себя, то ради детей, Тони и Давидки. Сегодня Лука Лукич у нас ужинать будет. Это знаешь, какой человек? Герой войны, весь пиджак в золоте и серебре. И справа висит, и слева висит. Семью свою в войну потерял и потому из тех мест уехал от тяжелых воспоминаний подальше, в наши места. А здесь туз тузом. Сам Куцепалов, директор совхоза, перед ним спину гнет, поскольку все финансы у него, а он лицо материально ответственное перед городским банком. И человек добрый, редко кто теперь согласится с двумя детьми взять.

Пока взрослые беседовали и трудились, дети веселились, бегали по траве, забирались в скирды. Потом появился дядя Никита и каждому дал по птичьему яичку в желтых крапинках. Тонино яичко разбилось, и она заплакала, но дядя Никита тут же дал ей другое. Пообедали в поле крестьянской похлебкой с говядиной и капустой. Каждому досталась полная алюминиевая миска похлебки.

Вечером перед ужином Вера говорит Ульяне:

– Я тебе свое платье дам, ты приоденься. У нас, кажись, один размер. Ты чуть худее, но можно где надо булавкой зашпилить. И туфли мои одень на каблучках. Ежели велики, в носки тряпок набей. Это лучше, чем когда давят. И духами побрызгайся «Красная Москва». Я на особые случаи флакончик берегу. А это и есть особый случай в твоей судьбе, Уля.

Приоделась Ульяна, посмотрела на себя в зеркало в полный рост, ахнула: точно по волшебству из жабы-лягушки стала царевной. А Тоня как увидела свою маму такой – засмеялась

от радости, в ладошки захлопала. Тут же и тетя Вера радостная суетится, где лишнее, булавками подкалывает. Взмахнула Ульяна руками и пошла перед зеркалом каблучками притопывать.

Вниз по озеру гагарушка плывет,
Выше бережка головушку несет,
Выше леса крылья взмахивает,
На себя воду заплескивает.

– Хороша невеста, – смеется дядя Никита, – пора свадебную баньку топить. У нас в деревне Лобанове над рекой Истрой, откуда я родом, накануне свадьбы топили баню, и подружки мыли невесту. Косы переплетали. Пока девушка – с одной толстой косой, а замужняя – уж две косы… Хороша наша деревня. Над кровлей кажного дома – резная фигурочка, на окнах – узорные наличники.

– Ладно, – оборвала его Вера, – и наши не хуже ваших. Гляди на Улю, какая рыбка плывет. Надо только шелковы невода, чтоб ее изловить.

Лука Лукич пришел в седьмом часу вечера, как и условились. Принес бутылку водки «Московская», полфунта масла и банку красной кетовой икры. Торговля с Западом тогда велась незначительная, и икру черную и красную пускали на внутренний рынок. Стояла она на прилавках свободно, даже и в захудалой провинции, и была гораздо меньшим дефицитом, чем обычная чайная колбаса. Стоила икра по сравнению с нынешними ценами недорого, но народ зарабатывал еще меньше, и была икра, как и ныне, мало кому доступна. Однако Лука Лукич, главбух совхоза, мог себе позволить.

– Вчера в горбанке был, – сказал Лука Лукич, усаживаясь за стол и расправляя свою хорошо выращенную, по грудь бороду, черную с седой искрой, – в горбанк ездил, а там напротив гастроном большой… Был в горбанке, купил икру в банке, – пошутил Лука Лукич.

Лука Лукич был человек тяжелого веса и уважение к себе имел увесистое. Вера устроила так, что за столом Ульяна оказалась рядом с Лукой Лукичом.

– Вы, Лука Лукич, уж поухаживайте за моей сестрой, – сказала Вера, сахарно улыбаясь, – а то она у нас несмелая.

– Рад стараться, – шутливо ответил Лука Лукич, и когда он потянулся вилкой к блюду с холодцом, то ордена и медали на его груди зазвенели, как колокольчики, которые вешают в здешней местности на шею козам и коровам, чтоб легче было отыскать их в тайге. Положив кусок холодца Ульяне, он положил кусок и себе на тарелку.

– Хренка бы, – обратился он к Ульяне, – и вам советую.

– Я острого не люблю, – сказала Ульяна.

– Напрасно, – сказал Лука Лукич, принимая от услужливой Веры посудину с тертым хреном и накладывая себе побольше. – Способствует, – добавил он, но чему способствует, не объяснил. – А стюдень хорош, – сказал, положив кусок в рот и прожевав. – Это говяжий стюдень со свиными губами?

– Точно, – умилилась Вера, – вы, Лука Лукич, знаток. Вам холодец из хрящей жена не подсунет. Да и было б за что, мы, женщины, все раздобудем.

Действительно, побегала Вера многовато: и в станционном буфете переплатила, и мясника в совхозном магазине отблагодарила, пока достала три говяжьи ноги и пол свиной головы. Ребятам, всей ораве, накрыли стол отдельно, на кухне, и потому разговор у взрослых после второй рюмки пошел серьезный и нестеснительный.

– Вчера в городе кино смотрел, – сказал Лука Лукич, – «Иван Грозный». Хорошая картина, только с названием я не согласен. Для кого он, понимаешь, Грозный был? Для боярства

и купечества, а не для народа. Я считаю, самое ему подходящее название не Иван Грозный, а Иван Серьезный.

– Это верно, – сказала Вера, сворачивая на свое, – серьезному мужчине жена всегда рада. А у сестры моей муж попался никудышний. Мендель, еврей. Бросил ее с двумя детьми.

– Не в том дело, что еврей, – медленно, рассудительно шевелил губами Лука Лукич, – это я не согласен, как у нас некоторые к евреям относятся. Маркс был еврей и Яков Свердлов. Какой человек, важно, а не нация.

Такие слова Луки Лукича Ульяне понравились, она подняла глаза и посмотрела на него уже мягче. Луке Лукичу было лет сорок пять, и если б сбрил бороду да нос был бы не так толст, то имел бы лицо даже приятное.

– Двое детей, говорите, – боролся со словами выпивший Лука Лукич, – я люблю малых… Семью мою немцы-фашисты сожгли в сарае вместе с другими односельчанами за то, что в деревне немца убили… Жену и троих маленьких. – Он вынул платок и приложил его к глазам.

За столом притихли. Никита дожевывал кусок холодца, но Вера его дернула, и он остался сидеть с полным ртом, пока Лука Лукич не отнял платок от глаз.

– Воспоминания, – сказал Лука Лукич, утер слезы и громко в этот платок высморкался.

Только после этого Никита дожевал кусок.

– «Не в шумной беседе друзья узнаются, – сказал Лука Лукич, – друзья узнаются с бедой. Коль горе настанет и слезы польются, тот друг, кто заплачет с тобой».

– А мы, Лука Лукич, все плакали, – сказала Вера. – Верно, Никита? Когда вы начали про деток… – И она приложила платок к глазам, громко всхлипнула.

– А где же детки? – спросил Лука Лукич.

– Нету деток, – сказал Никита, – деток немцы в сарае сожгли.

– Тю на тебя, – сказала Вера, – он когда выпьет, Лука Лукич, не помнит, что говорит. Лука Лукич про Ульяниных деток спрашивает. – И через стол быстро шепнула Ульяне: – Позови Тоню и Давидку.

Когда позвали детей Ульяны, из кухни пришла вся орава.

– Ай, хорошо, – умилился и повеселел Лука Лукич, – люблю, когда полный дом детей.

– Это дело наживное, – сказала Вера и рассмеялась.

– Которые из них? – спросил Лука Лукич, тоже смеясь. – Которые Ульяны? Этот, что ли?

– Нет, – сказал Никита, – это наш. Это Макарка.

– Макарка, – умилился Лука Лукич, – ты чей будешь, Макарка?

– Я? Матерный сын.

– Матерный? – захохотал Лука Лукич, снова прижимая платок к глазам и утирая слезы, но уже от смеха. – Именно что матерный… Так нехорошо, так не надо… Матерный…

Если пьяного и сытого человека что-то рассмешит, то уже остановить невозможно, пока не высмеется.

– Матерный… Ах ты, ах ты… Ах ты, цыцкин сын… Цыцкин сын – это приличней. Кто из нас не цыцкин сын, тот цыцкина дочь… Все мы цыцкины дети…

Было уже поздно, в окна светила яркая луна. Лука Лукич глянул на свои карманные часы-«луковицу» в хромированном стальном корпусе.

– Пора… Завтра мне на работу пораньше… дебит-кредит…

– Проводи Луку Лукича, – сказала Вера Ульяне, – а то, может, его кто обидит… Я детей сама уложу.

– Сделайте любезность, – сказал Лука Лукич Ульяне, – сперва вы меня проводите, потом я вас провожу.

– Ты куда, мама? – спросила Тоня, увидав, что мать ее направляется к дверям с Лукой Лукичом.

– Иди, иди спать, – вмешалась тетя Вера и повернулась к Ульяне: – Гуляй, не беспокойся, я с детьми сама управлюсь.

Ульяна вышла на улицу. После душного, спиртного застолья сырой холодный воздух был вкусен, хотелось стоять и дышать, не думая ни о чем. Черную мглу вокруг освещали лишь слабые отсветы из окон. Во тьме лаяли собаки, что-то скрипело и гудело.

– Это на Пижме паром скрипит, – сказал Лука Лукич, – никак мостом не разживемся. Я, как депутат, уже несколько раз ставил вопрос в исполкоме. И фонари необходимы, улицы осветить. Здесь местность таежная, людишек хватает, которым во тьме удобней… Был у меня случай в прошлом месяце. Подходит ко мне: часы давай. Я ему говорю: сволочь, не успеешь опомниться, как я тебя ударю по голове. Причем дважды. Он меня ударил поверх головы. В том смысле, что я пригнулся… Я же после партизанщины и фронта все приемы знаю… Главное в драке – бухгалтерский расчет… Шаг назад, и яйца сохранены…

Про яйца с перепою сказал, поскольку еще не выветрилось, но тут же опомнился и извинился.

– Я, знаете, никогда не ругаюсь, хоть работа у меня нервная, ответственная. Если уж припечет, скажу: ах ты хрен перловый – и все.

Ульяна ничего не ответила. Шли молча. Подошли к Пижме у скрипящего во тьме парома.

– Похолодало, – сказал Лука Лукич. – Вот пиджак мой позвольте, а то платье на вас легкое.

И повесил на худые плечи Ульяны свой тяжелый пиджак с позвякивающей металлической грудью.

Меж тем Тоня все не могла заснуть, хотела дождаться матери. Вера с ней замучилась и даже на нее прикрикнула. Остальные дети уже спали, а Тоня все ворочалась, поднимала голову и глядела в окно.

– Спи, – прикрикнула тетя Вера, – мать твоя тоже человек, погулять хочет. Она не скоро придет.

Однако вернулась Ульяна, к радости Тони, через какие-нибудь полчаса.

– Ты чего? – тревожно спросила Вера.

– Ничего, – ответила Ульяна и добавила тихо: – Не люблю, когда у мужика борода водкой воняет.

– Э-эх, – сказала Вера, – только мое платье студнем забрызгала. Вон пятно, теперь не отстираешь.

– Это Лука Лукич забрызгал, когда за мной ухаживал, – ответила Ульяна.

И больше о Луке Лукиче разговора не было. Утром Вера ушла на покос сердитая, не попрощавшись, а Никита, у которого был отгул, отвел Ульяну с детьми на полустанок и купил им билет на поезд. Так, на поезде, уже без всякой усталости, быстро и удобно приехали они назад, на свою улицу Красных Зорь.

3

Улица Красных Зорь осенью непроходима. Ноги не вытащишь. А вытащишь – калошу в грязи оставишь. Осень для Тони – худшая пора. Этой же осенью совсем худо: старые калоши порвались, а на новые мама Ульяна деньги не заработала. Получила Ульяна аванс, сели они с Тоней за стол деньги раскладывать: на то, на сё, на то, на сё и на еду отдельно. А на новые калоши не получается.

– Ты, может, потерпишь, дочка? – говорит Ульяна. – В слякоть все равно далеко не пойдешь, а вот замерзнет скоро, снега наметет, валенки наденешь. Они у тебя новые и теплые.

Согласилась Тоня, что поделаешь. Согласиться-то согласилась, но все равно обидно. Сидит Тоня на заборе и плачет. Калош нет – гулять не может. Вдруг видит Тоня, дядя Толя идет. Испугалась, еще сильней плачет. Подходит к ней дядя Толя и спрашивает:

– Чего ты плачешь, голубушка?

А лицо у него бледное, пенсне блестит, и всё покашливает. Спрашивает и покашливает сипло. Хочет Тоня с забора соскочить, хоть бы и в грязь, да от страха как будто к доскам приросла. Полез тогда дядя Толя рукой в карман свой.

«Ой, сейчас иголочку вытащит, – думает Тоня, – ой, сейчас уколет».

А дядя Толя вынул из кармана бордовую ленту и подарил. Взяла Тоня, побоялась не взять, да и лента шибко красивая. Пошел дядя Толя своей дорогой, вреда Тоне не причинив, даже наоборот, несколько раз останавливался и рукой ей махал. И Тоня тоже раз в ответ рукой махнула – не удержалась. Потом, когда дядя Толя скрылся, слезла Тоня с забора, пошла в дом, матери все рассказала и ленту показала. Узнали про ленту бордовую соседи, и тетя Вера, которая проведать сестру заехала, и бабушка Козлова, и прочие поселковые женщины. Все говорят: выкинь ленту, выкинь. А бабушка Козлова даже посоветовала: спали ее. Послушала Ульяна эти советы, послушала – и бант завязала. Красив бордовый бант в Тониных темно-русых волосах. Ахнул народ поселковый, как узнал, что Ульяна совершила.

– Ульяна сама порченая, – говорят, – она с жидом жила, от жида детей прижила. У ней кровь тифозная.

А дедушка Козлов сказал:

– Раньше с жидом, а теперь с контрой. Дядя Толя ведь непокорный враг революции. Он дворянского звания.

Меж тем дядя Толя еще подходил и заговаривал с Тоней, поскольку Тоня не гуляла, а сидела на заборе и ее встретить было нетрудно. Тоня уже не пугалась, не плакала и брала у него гостинцы, какие раньше и не чудились: то шоколадку, то печенье мятное, то две мандаринки. А раз принес новенькие калоши. Подкладка ярко-красная, мягкая, резина тугая, пахучая. Натянула Тоня калоши – в самый раз. С забора соскочила, по грязи пошла: ноги сухие, и калоши прочно сидят – высшее качество. Не областной фабрики, а Мосрезинотреста. Клеймо имеется. Ульяна вместе с Тоней со всех сторон новые калоши осмотрели – хороши. Тоня их перед сном рядом с кроватью аккуратно ставила, а не в передней, где иная, старая обувь. Вымоет, высушит и поставит. Пусть стоят, блестят, резиной вкусно пахнут. Радуется не нарадуется вся семья, даже меньшой Давидка подойдет к Тониным калошам да погладит. Однако у Ульяны имелись и сомнения: отчего дядя Толя такой тороватый к Тоне, что у него за умысел и откуда он про калоши догадался? Говорит Ульяна Тоне:

– Если еще дядя Толя появится, кликни меня, я подойду.

Тоня и сама уж ждала дядю Толю: что подарит? Уж привыкла к подаркам. Ждала, когда на улице Красных Зорь послышится сиплое покашливание, и потому она не обращала внимания на крики соседских ребят, которые ее дразнили.

– Дядя Толя, дядя Толя, – кричали они ей, – Тоню иголочкой колет!

– На-кось выкуси, – кричала им в ответ Тоня, – больше не дам никому ни кусочка пряника, ни кусочка шоколадки.

Дразнить дразнили, а уйдет дядя Толя, подбегали и лакомства выпрашивали. Вот приходит дядя Толя и приносит два пирожка. Вкусные, медовые, с орешками. Берет Тоня пирожки, пробует и наслаждается, а соседским ребятам незаметно кукиш показывает. Ест Тоня пирожки и спрашивает, пережевывая сладкие, липкие кусочки.

– Можно, – спрашивает, – я свою маму, Ульяну, позову, поскольку она просила ее позвать, когда вы придете?

– Буду весьма рад, – отвечает дядя Толя, – я твою матушку издали наблюдал, и для меня большая радость с ней познакомиться.

Позвала Тоня Ульяну, и дядя Толя действительно весьма обрадовался, улыбается и смущенно покашливает.

– Разрешите представиться, – говорит, – Мамонтов Анатолий Федорович. – И Ульяне руку поцеловал.

Ульяна сначала от такой необычности растерялась, а потом освоилась, себя назвала.

– Ульяна Григорьевна, в девичестве Зотова, по мужу Пейсехман.

– Весьма приятно.

– И мне приятно. Только вас спросить хочу: почему вы нам подарки делаете? Ведь мы же чужие.

– Я верующий, – отвечает, – и по моей вере полагается чужих любить как своих. Слышал я, как соседские ребята Тоню дразнят, что у нее калош нет, вот и подарил калоши.

Подивилась Ульяна таким речам, они ей непривычны были. И человек дядя Толя непривычный. Издали опасным казался, а вблизи улыбку имел тихую, беззащитную. Нищую улыбку, которая словно что-то выпрашивала, будто в состоявшемся знакомстве не дядя Толя одаривал, а его одаривали.

– Буду весьма признателен, – говорит, – если вы с мужем согласитесь принять приглашение мое на обед.

– Хорошо, – отвечала Ульяна, – только муж мой Мендель Пейсехман в настоящее время в длительном отъезде, и жду я его возвращения не раньше весны. Но с Тоней приду.

И начали они с Тоней с того времени к дяде Толе в гости ходить. Первый раз пришли – обомлели. Дядя Толя с его сестрой Раисой жили в большой пятикомнатной квартире на нижнем этаже трехэтажного дома из серого кирпича, словно перенесенного сюда из Москвы, Ленинграда или, в крайнем случае, из области. Впрочем, к внешнему виду дома поселковые привыкли и не дивились, поскольку стоял этот дом еще с давних, дореволюционных времен. И, конечно, подобно иным поселковым, Ульяна видала высокие внутренние комнаты, когда приходила на верхние этажи дома в поселковый совет или фабричное управление. Однако те комнаты были уж переоборудованы в присутственное место с канцелярскими столами и побеленными стенами. Каждое жилье имеет свою душу, свой дух, который исчезает вместе с прежними обитателями. Потому так быстро обращались в пропахшие керосином хижины-коммуналки бывшие квартиры-дворцы аристократии, буржуазии и купечества. А из всех насекомых наибольшим классовым сознанием, как известно, обладают вошь да клоп, которые сразу сообразили, куда им из полуподвалов переселяться.

Однако в пятикомнатной квартире Мамонтовых прежний дух был сохранен полностью и обитателями, и обстановкой. Все пять комнат были тесно уставлены мебелью такого вида, которая не то что Ульяну – столичного советского гражданина удивила бы. Ульяна, как и прочие поселковые, привыкла к рундукам, сундукам да ларям, дощатым, крепко сколоченным из сосны и ели, прямым, угловатым. Здесь же мебель словно текла, изгибались не только ножки, но и ручки, и спинки кресел и стульев. И обивка сидений и спинок кожаная, бархатная, шелковая, атласная. Прибито все гвоздиками с блестящими головками, отделано бахромой и тесьмой. Множество резных шкафов и шкафчиков шоколадного цвета, посудные буфеты, и на них изображены разные плоды, цветы, листья, фигурки детей, животных. Уж на что Никита в свободное время искусно резал по дереву и даже над кровлей дома фигурку прибил, да разве сравнить тонкую столярную работу с работой плотника.

Но как же не разбили все это во время революционной бури, как не конфисковали во время классовой борьбы? Заступники нашлись. Сначала из революционной интеллигенции, а потом из совмещанства, поскольку красивая мебель отечественного производства для революции безопасна, а для новых любителей роскоши даже полезна. Конечно, много побили, много пропало, и в итоге мебельную фабрику Мамонтовых переоборудовали в мочально-рогожную фабрику, но эти пять комнат сохранили как музей, и при музее жил бывший владелец, кото-

рый ныне работал садовником. В начале двадцатых годов, еще при покойном Федоре Евгеньевиче Мамонтове, был на мочально-рогожной фабрике мебельный цех, снабжал губкомы, райкомы, исполкомы, посылал и в центр. Федор Евгеньевич работал в этом цехе спецом. Однако давно уж и этот цех закрыт, а Федор Евгеньевич давно уж покоится на сельском кладбище села Абрамцева близ подмосковного городка Хотькова, покоится рядом с женой своей, которая, как выразилась Раиса Федоровна, «имела счастье умереть в 1916 году».

– В селе Абрамцеве у нас имение было, – рассказывала Раиса Федоровна, после того как пообедали и сели за полированный столик чай пить с домашним пирогом.

Обед был куриный, пахучий, поскольку Анатолий Федорович садовником при начальстве зарабатывал неплохо и ценился особенно за земляные вазы из цветов, которые он по заказу делал. Даже в область ездил и перед обкомом такую вазу соорудил. Обед был непривычен и вкусен, однако ведь и Ульяна умеет вкусно приготовить, если есть за что. Не курицу, тушенную с вином, но зато пельменей налепит – сами в рот просятся. Пельменей-то налепит, а вот подать их, кроме как в алюминиевых мисках или в глиняных тарелках, не в чем. Поразил Ульяну и Тоню не так обед, как поразила посуда. Большие тарелки с золотым ободком, с лазурью, с розовыми цветами. Ноготком по краюшку постучишь – они так тихо звенят, так музыкально отзываются. Что еще понравилось Ульяне у Мамонтовых, так это гитара, тоже шоколадного, густого цвета, с краснотой. На гитаре – не то что на балалайке, пальцы с непривычки путаются, но попробовала, наиграла мелодию «У муромской дороги». А Раиса легко струны перебирала, мягко, полузакрыв глаза, и пела в своем шелковом красном капотике, сидя на шелковом зеленом диванчике, потряхивая длинными, до плеч, распущенными темными волосами. Пела романсы:

Тихо, так тихо
На землю спускаются грезы.
В темную летнюю ночь
Росой наполняются розы.

Попела, помолчала и неожиданно начала рассказывать, как их старшего брата Костю в семнадцатом году убили.

– Мы с Толей тогда еще в гимназии учились, а он студент. Ехали из Петербурга в Москву, домой. Как сейчас помню, ведь столько лет, а помню, стояли в тамбуре и вдруг видим, в тамбуре соседнего вагона по стеклу кровь потоком, будто на стекло ведро крови выплеснули. В соседнем вагоне солдаты ехали пьяные и меж собой драку затеяли. Костя наш был романтик, народолюбец, у него на груди красный бант висел. Да и у меня тоже. Простой народ мы любили, на этом воспитаны были. У нас в Абрамцеве отец организовал учебно-показательную столярную мастерскую. Набирали деревенскую молодежь, были подростки, были и столяры поопытней. Народ талантливый, милый, славный. Если и выпьет кто, так попляшет, попоет, проспится и опять работать. Работали с любовью. Отец и здесь, когда перед революцией фабрику построил среди местных лесов, собирался кустарно-художественную мастерскую открыть и столярному делу народных умельцев обучать. Земство нас активно поддерживало. Дело шло хорошо. Помню, отец говорил: перед мебельным делом стоит задача создать обстановку русского жилого дома, русской церкви и русской школы. Помимо фабрик, и артели организовать хотел с использованием старой русской резьбы по дереву. Мебель наша призы брала на Нижегородской ярмарке и за границей, в Лейпциге. Вот Костя и решил, что дерущиеся солдаты – это те же столяры, только перепившиеся не в меру и кем-то обманутые, стравленные. Пошел к ним: товарищи, не лейте свою революционную кровь на радость врагам России, – и хотел разнять. А они сразу: наших бьют! – объединились, и на Костю. Опомниться никто не успел,

как на куски разорвали и начали эти куски по ходу поезда из вагона выбрасывать. Поезд остановили, но левую Костину руку так и не нашли. Хоронили без левой руки.

Раиса Федоровна вдруг сжалась в комочек в углу дивана, подобрала под себя ноги и заплакала, задрожала, а вслед за ней испуганно заплакала Тоня. Анатолий Федорович сел привычно рядом с сестрой – видно, эти припадки были не впервой – и начал гладить по плечам и голове.

– Перестань, Раиса, что старое вспоминать. Как давно было. Вот ты гостей напугала, девочку…

– Старое, – крикнула Раиса, – а сейчас нас здесь по-старому и ненавидят, точно революция не кончилась! Только что на части не рвут, поскольку это запрещено властью. Мы как будто и не высланы, сами сюда приехали, а уехать отсюда не разрешают, особенно брату. Сначала отказывали, будто мы родственники белого генерала Мамонтова. Не знаю, может, и родственники – все дворянство меж собой в родстве. Но теперь уж генерала не упоминают, отказывают просто так. У Толи легкие больные, а климат здесь болотистый, сырой. Но народ здесь еще хуже климата. Выдумали, что Толя детей иголочками колет… Ох, ненавижу… Хамы! Волки!

Анатолий Федорович взял сестру за плечи и увел ее в соседнюю комнату. Ульяна уж жалела, что пришла. Ей Тоню успокаивать; да хоть бы кто ее самое успокоил после рассказа Раисы и ее припадка. Ульяна была местная, поселковая и по себе знала, что такое поселковое мнение, которое передается от соседа к соседу, от родителей к детям и в котором жертва может утонуть не хуже, чем в моховом болоте. Но все ж это было привычно, с этим можно было сжиться, если ступать не в глубину, а идти по кромке, как вдоль болота. А в ненависти Раисы было чужое, она слепила, как пришедшая с небес молния, и сжиться с этим было нельзя, обойти невозможно. Попадет – испепелит.

Успокоила Ульяна Тоню и решила: больше сюда ни ногой. Хоть поселковые и темны, и злобны, но в чем-то правы: гусь свинье не товарищ. Так решила, однако решения своего не исполнила. Слишком уж ее после поселкового однообразия, после домашней бедности и тяжелой работы по мытью вагонов привлекли эти, может, как раз всеобщей поселковой нелюбовью сохраненные в первичном своем виде люди, эти тарелки и эта мебель. К тому ж больше подобных разговоров не было. Первый раз прошумело от новизны встречи, от накопившегося с обеих сторон однообразия. Тем более минут через десять после припадка вышла Раиса Федоровна умытая, одетая по-иному, хоть и богато, но как одеваются барышни в советских конторах: юбка, жакет, белая блузка с манжетами. Волосы не распущенные, а собраны, заколоты клубком, губы слегка подкрашены. Красивая, хоть и в летах. Видать, и сама чувствует эту свою красоту – женщина всегда свою красоту чувствует. Рассказала, что главный инженер мочально-рогожной фабрики ее сватал, но она отказала, невзирая на то что мужчина он заметный и на десять лет ее моложе.

– Зачем? За областного начальника или московского тем более, может, и вышла бы ради брата. Однако мы ведь ссыльные. Областной даже и захочет – побоится. А просто так быть наложницей, терпеть возле себя хамский запах, который никакими дорогими духами не заглушишь, – уж извините. Особенно после моего жениха-поляка. У меня в начале двадцатых была в Москве любовь с одним польским художником. Точнее, дипломатом, но и художником. Другом Анатолия. Прочти, Анатолий, стишок, который ты про Збышека сочинил.

Анатолий Федорович, который более молчал, слушая свою властную, обожаемую сестру, подчинился и прочел:

Он был не в меру польский,
Он был не в меру псих.
Он был Збышек Раздольский,
Моей сестры жених.

– Замечательно, – сказала Раиса Федоровна, – и после всего этого – с хамом? Мы ведь сюда приехали не совсем добровольно. Точнее, бежали в глушь, опасаясь ареста, после того как Збышека выслали в Варшаву… И после всего – поменять Збышека на хама? – снова повторила она. – Вы знаете, какой слух они про меня пустили? Теперь уж забылось, а когда я была помоложе, то многие из них меня хотели… Тут был начальник поселковой милиции Восрухов… Фамилия замечательная, княжеская. Так этот Восрухов меня изнасиловать хотел… Вызвал как будто для проверки паспорта.

– Оставь, Раиса, – умоляюще сказал Анатолий Федорович, – здесь же девочка.

– Ребенок все равно не понимает, о чем речь… Дай ей конфет… Вон ту коробку. Это московские конфеты фабрики Бабаева, бывшей фабрики Абрикосова. Купцы больше любили от Абрикосова, а аристократия – от Эйнема, ныне фабрика «Красный Октябрь»… Теперь ведь все красное… Зори покрасили, осенний месяц перекрасили… Но чего я все о конфетах? Чтоб подсластить нашу горечь, что ли? Знаете, какие слухи обо мне этот Восрухов пустил? Будто я живу со своим братом не только как сестра, но и как женщина…

– Умоляю тебя, Раиса, – сказал Анатолий Федорович, – не понимаю, отчего ты сегодня так разговорилась при гостях.

– Потому и разговорилась, что при гостях. У нас ведь гостей не бывает.

– Верно, мы уж засиделись, – заторопилась Ульяна, – меньшого из садика время забирать.

Вышла с Тоней и решила: сама сюда больше не пойду и Тоню не пущу. Однако и сама ходила, и Тоню пускала, поскольку более опасных разговоров не было и время проводилось приятно и полезно. Тоня полюбила книжки с картинками разглядывать, которые ей Анатолий Федорович показывал. И Ульяна этому радовалась: ведь уже большая, через год в школу. А сама Ульяна полюбила слушать, как Раиса Федоровна поет, поскольку тоже была певунья. Петь, правда, при Раисе Федоровне и Анатолии Федоровиче стеснялась, но слушала пение с удовольствием. Пела Раиса Федоровна всегда с надрывом.

Астры осенние, грусти цветы,
Тихо-задумчивы ваши кусты.
Тихо качаетесь, грустно склоняетесь
Осенью поздней к земле.

Когда Раиса Федоровна так пела, то у Ульяны каменело в груди и было жаль чего-то непонятного, о чем раньше не думала никогда.

Сад весь осыпался, все отцвело.
Листья опавшие вдаль разнесло,
Лишь одинокие астры осенние
Ждут не дождутся весны…

4

Выпал и растаял первый снег – это значит, зима уже рядом, хоть валенки надевать еще рано и Тоня по-прежнему ходила в подаренных дядей Толей калошах. «Осенний снежок – не лежок. Выпал да тает. От первого снега до санного пути – шесть недель срока». Когда минули эти шесть недель, когда запуржило, замело в поселке, когда Пижму льдом сковало, совсем уж Ульяна и Тоня привыкли к Мамонтовым и, случалось, даже с меньшим Давидкой приходили, которого Мамонтовы угощали молоком и медом. И, случалось, уж сама Ульяна приходила без

детей, поскольку нравилось ей с Анатолием Федоровичем говорить, точнее, слушать его. Говорили о разном, о таком, о котором ранее Ульяна и представления не имела. Но слушала с интересом и удивлялась, как много меж собой связанного в мире, что ни возьми. Растения ли, которыми Анатолий Федорович увлекался, поскольку работал садовником, мебель ли, которая как будто стоит и молчит, – всё тревожит и радует, если вглядеться и вдуматься.

– Меня давно уж волнуют чувства растений, – говорил Анатолий Федорович, – их смерть от холода и жары, их страдания от ранений. Вот бухарник, или медуница, медовая трава. – И он показал стоящие на застекленной теплой террасе среди прочих цветов маленькие бледно-лиловые колоски. – Они меня узнаю́т, когда я подхожу. Меня они любят, а мою сестру – не очень, потому что она слишком уж грубо ломает их стебельки. Я же стараюсь это делать осторожно и всегда с молитвой прошу прощения. Стебельки мне необходимы для настоя, поскольку это хорошее старое средство при нездоровье легких. У меня легкие давно уж нездоровы, и, может, потому больше иных поэтов я люблю Надсона. Я понимаю, Александр Сергеевич Пушкин лучше, а люблю все равно Семена Яковлевича Надсона. Сейчас он забыт, а в наше время его все мое чахоточное поколение любило. Как он о себе писал: «Болезнь груди да пламень личного желания»…

И Анатолий Федорович осторожно прикоснулся к руке Ульяны своими холодными пальцами. Прикосновение больных пальцев было неприятно, но Ульяна вытерпела, чтоб не обидеть этого милого человека. Они сидели в странном кресле, двойном, спиной друг к другу. Слышно было, как в соседней комнате Раиса Федоровна бренчала на гитаре и тихо пела:

Целый день спят ночные цветы.
Но лишь солнце за рощу зайдет…

– Это кресло так и было обозначено в рекламе: «Для более укромного и тайного поцелуя», – сказал Анатолий Федорович. Он блеснул глазами и улыбнулся таинственно. Пенсне почеховски висело у него на ухе, на шелковом черном шнурке. – «Я тебе ничего не скажу…» – игриво пропел Анатолий Федорович, повторяя куплет, который из соседней комнаты пела его сестра. – «Я тебе ничего не скажу, я тебя не встревожу ничуть…» Теперь Надсон забыт, а во времена моей юности он был любимцем. Он искал успокоения от надвигающихся потрясений на лоне чистого счастья, в мире грез, в мире чистой красоты… «У меня не песни, а намеки» – очень образно сказано… Он сейчас забыт, а тогда его любил Чехов, Бунин считал его своим учителем… Знаете, человек, прежде чем сделать решительный выбор, желает не только мыслью, но и сердцем осознать предстоящий ему путь… Вам скучно меня слушать, Ульяна Григорьевна?

– Нет, очень, очень интересно… Я и не думала, что возможно так говорить… Но только извините, кресло слишком неудобное… Отчего это спиной надо сидеть один к другому?

– Для большей интимности, – тихо сказал Анатолий Федорович. – Впрочем, если вам неудобно, мы можем пересесть в то кресло, тоже сдвоенное, но друг против друга. Оно в рекламе называлось «Для чинной беседы и покойного обмена рассудительными разговорами».

– Давайте пересядем, – сказала Ульяна, чувствуя беспокойство от прикосновения к ее спине худых лопаток Анатолия Федоровича, – то кресло удобней.

– «Не говорите мне, он умер, он живет, – продекламировал Анатолий Федорович Надсона, когда они пересели, – пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает, пусть роза сорвана, она еще цветет, пусть лира сломана, аккорд еще рыдает». – Он снова блеснул глазами, потом надел пенсне и тихо пропел вслед за сестрой:

И в больную усталую грудь
Веет влагой ночной, я дрожу,

Я тебя не встревожу ничуть,
Я тебе ничего не скажу…

Приехали мы сюда давно, а вот впервые я так с местным человеком говорю… Помню, поселок был маленький и улица называлась Брусничная. Потом, к десятилетию Октября, ее в Красных Зорь переименовали… Сколько лет прошло, а вражда вокруг меня и сестры так и осталась. Поэтому я вам благодарен, Ульяна Григорьевна. И Тоне… Хорошая у вас дочка, берегите ее. Она должна учиться.

– Отчего ж меня благодарить, – сказала Ульяна, – это я вас благодарить должна. Но мне пора, Тоня одна дома управляется.

– Погодите, – умоляюще сказал Анатолий Федорович, – я вам собирался нечто сказать, но вот запамятовал.

– В следующий раз вспомните.

– Нет, Ульяна Григорьевна, в следующий раз я, может, и не решусь… Скажите, Ульяна Григорьевна, – он опять снял пенсне и посмотрел ей в лицо, близоруко щуря голубые, влажные глаза, – Ульяна Григорьевна… Отчего… нас ненавидят?

Чувствовалось, что он спросил вовсе не то, что хотел, и в последнее мгновение вопрос свой подменил. Ульяна знала, какой это вопрос, она слышала его уже произнесенным: согласитесь ли вы выйти за меня? «Конечно, нет, потому что я люблю Менделя». Но, по счастью, Анатолий Федорович не спросил и она не ответила; по счастью, он вопрос о любви подменил вопросом о ненависти.

– Сестра моя – человек с больными нервами, но ведь она права. Выросли новые поколения, а ненависть к нам осталась прежняя. Отчего так?

– Оттого, Анатолий Федорович, что они Надсона не читали.

– Но ведь и вы Надсона не читали?

– Я живу одна, а они живут все скопом. Они и меня не шибко любят за то, что я не живу вместе с ними скопом.

Пришла Ульяна после этого разговора домой, покормила детей, управилась по прочим бытовым нуждам, а когда дети заснули, окончательно решила: больше к Мамонтовым не пойду. Тоня пусть ходит, а я не пойду. Анатолий Федорович умный, душевный человек, он поймет отчего и не обидится. Жаль, конечно, да что поделаешь.

И действительно, больше не ходила. Тоню посылала, а сама не ходила. Раз увидела на улице Красных Зорь Анатолия Федоровича со спины, так в тупичок торопливо свернула, переждала.

– Раиса Федоровна про тебя спрашивала, – говорит как-то Тоня, – отчего ты не приходишь?

– Скажи – захворала, – отвечает Ульяна. – Я туда, дочка, больше не пойду, а отчего, тебе еще не понять, поскольку мала слишком. Ты же ходи, люди они хорошие и хорошему тебя научат. А я папу нашего, Менделя, ждать буду, тем более до весны уже недалеко.

Такой срок сама себе внушила и в него поверила. Однако гораздо ранее весны, под новый, пятьдесят третий год, прибывает поздравительная открытка. Глянула Ульяна и затряслась: от Менделя. Что написано, прочесть из-за слез не может, да и буквы от волнения не складываются, а просто прижимает открытку то к губам, то к сердцу и целует. Как взяла открытку у почтальона, села с ней на лавку, так и не поднялась, пока Тоня с прогулки не пришла.

– Случилось что? – спрашивает Тоня, глянув на мать.

– Папа приезжает, папа Мендель приезжает! – как закричит Ульяна.

А ведь открытку-то так и не прочла. Начали они с Тоней открытку разглядывать. С одной стороны – елка в золоте и серебре и Дед Мороз с подарками среди зайцев. А с другой стороны корявым почерком Менделя написано поздравление жене и детям, а про то, что приедет, – ни

слова. Однако Ульяна не унывает: раз вспомнил, написал, значит, приедет. Ульяна ответить не могла, поскольку обратный адрес указан не был, однако ждала, и действительно, в феврале – новая открытка: крейсер «Аврора», по углам – красные знамена, а с обратной стороны корявым почерком Менделя: «еду» и прочее, разное – «люблю», «соскучился». Но главное – «еду», а то, что «люблю, соскучился», и без того понятно.

В начале февраля прибыла открытка с крейсером «Аврора», а двадцать шестого февраля, в метельный, морозный день приехал Мендель.

Встречать на станцию на санях поехали Ульяна и Тоня; меньшого Давидку дома закрыли. Сани с лошадью выделил профком мочально-рогожной фабрики, поскольку Ульяна известила о приезде мужа и фабричные тоже были рады: хороший шофер и первоклассный слесарь возвращается, а людей не хватает. Увидели Ульяна и Тоня Менделя, повисли на нем. Он еще с вагонных ступенек на снег не спустился, а они уже повисли, другим пассажирам мешают выходить.

– Подождите, – смеется Мендель, – давайте дома доцелуемся, а то на морозе друг к другу примерзнем. – Потом вдохнул воздух. – Ах, – говорит, – ну и вкусный же здесь воздух, как брусника промороженная, со снежком.

Дорога от станции и улица Красных Зорь были в сугробах, лошадь вязла, сани боком шли, и Мендель выскакивал из саней, вместе с возницей лошади помогал. Пуржит, ветер в лицо снегом хлещет, но весело, радостно, и, что б Мендель ни сказал, Ульяна и Тоня хохочут. Мендель, кстати, себя шутником считал. Был он мужчина сильный, с большими руками, упитанным квадратным лицом, нос имел широкий и курносый, уши оттопыренные, и если вглядеться, то чем-то Луку Лукича напоминал. Был тяжелодум и каждое слово произносил значительно, так что брат его, Ося, даже дал ему кличку Философ. Однако, в отличие от Луки Лукича, был Мендель добрый и обаятельный, а в сочетании с некоторой туповатостью это создавало характер спокойный, веселый, ласковый. Недаром Ульяна так по мужу тосковала. И Мендель соскучился по жене и детям.

– Как Давидка, – спрашивает, когда к дому подъезжали, – узнает ли меня, признает ли?

– Признает, – отвечает Ульяна, – он тебя тоже ждет не дождется. Ему уже четыре года, все понимает.

Когда Мендель вошел в дом, Давидка стоял у окна.

– Давидка, – сказал Мендель и протянул к нему руки. Давидка повернулся лицом к окну, спиной к отцу. Глаза мальчика наполнились слезами.

– Давидка, – снова, уже с некоторой тревогой, позвал Мендель.

Давидка по-прежнему стоял отвернувшись и молчал. Мендель сам подбежал, схватил сына на руки, поцеловал, и тогда лишь Давидка заплакал громко и сказал:

– Папа, чего ж ты так долго не ехал?

Однако и Давидка вскоре уж смеялся, веселился и вместе с Тоней помогал матери мыть отца. Ульяна крепко натопила печь, постелила у печи солому, поставила на солому деревянную, склепанную обручами бадью, наполнила бадью горячей мыльной водой и поливала сидящего в бадье Менделя из деревянной шайки. Мендель был человек рыжий, и белое тело его все покрывали веснушки.

Так вернулся Мендель к своей жене и детям, и поселок, как бы ни злословил ранее в его адрес, как бы ранее ни обзывал, но возвращение встретил одобрительно.

– Какой ни есть, а муж законный.

Может, из двух зол выбирали меньшее. Слишком уж разозлила и напугала поселок связь Ульяны с Мамонтовыми. Об этой связи быстро Менделю донесли, и он решительно стал на сторону поселка против Мамонтовых. Наверно, и ревность свою роль сыграла, потому что уж наговорили с полный короб. Пошел Мендель в фабком, на работу устраиваться, идет по улице Красных Зорь, ему с разных сторон:

– Здравствуй, Миша.

– С приездом, Мендель Моисеевич.

Бабушка Саввишна Котова встретила.

– Ты, Миша, то… это… Ты молоду жену более без присмотра не оставляй. Тут кобельков хватает… то… это… В черничник не зайдешь, старух лапают, а уж молоду и подавно… то… это… – И рассказала, как Ульяна к Мамонтовым ходила.

– Как, Уля, такое понимать? – спрашивает Мендель.

– Понимай, Миша, как понимается.

– А понимается так, что напрасно я приехал. Прав был мой старший брат Ося, недаром он доцент-историк. Прав был мой брат Ося, который сказал мне: Мендель, ты делаешь роковую ошибку. Права была моя мама, которая сказала мне: на мои похороны не приезжай и за моим гробом не иди, потому что буду проклинать из гроба.

– Ты, Миша, хотя бы при детях такие слова не говори, – отвечает Ульяна. – Ты поселковых не слушай, они и на тебя знаешь, что плели? Мамонтовы – люди хорошие, деликатные, ученые, они многому научить могут.

– И чему ж тебя это Мамонтов учил? Приставал к тебе?

– Это здесь, в поселке, да в черничнике пристают, и, может, там, на родине твоей, такие же уличные пристают. Анатолий Федорович имел серьезные намерения насчет меня. Но я ж тебя люблю, Менделечек мой. Я туда давно уж ходить перестала.

И обняла Менделя, размякла, и размяк Мендель. Однако против Мамонтовых не остыл.

– Пусть Тоня тоже туда не ходит. В поселке говорят, они детям вред могут причинить. Уколы какие-то детям делают.

– Какие еще уколы? Лают это поселковые, а ветер носит. Он Тоне книжки давал с картинками. Ей же скоро в школу.

– Пусть книжки в библиотеке берет. У нас на мочально-рогожной фабрике в клубе библиотека большая. Не ходи туда больше, Тоня.

– Не пойдет она, – соглашается Ульяна, – раз отец запрещает – не пойдет.

Уж очень ей хотелось с мужем поладить. Соскучилась по нему и все не могла привыкнуть, что муж у нее, как и у всех, и ничего в том особенного нет: живет в доме, ест да пьет, ходит на работу, когда дети заснут, то побалует с полчаса – и спать до утра. Все ей чего-то особенное в муже своем виделось. А раз виделось, значит, и было это особенное. И жить хотелось по-особенному, тем более деньги в доме завелись, как Мендель на мочально-рогожную фабрику вернулся. За время отсутствия Менделя дом пообносился, пообнищал, надо было сызнова достаток добывать. Мендель работал смену шофером и еще полсмены слесарем. Однако Ульяне велел со своей работы уволиться и более вагоны не мыть.

– Хватит тебе надрываться. Ты лучше дома по хозяйству хлопочи и за ребятами следи.

Трех-четырех месяцев не минуло – окреп дом, приоделся, отъелся. Ульяна была хозяйка хорошая, стряпуха неплохая. И времена чуть лучше стали, кое-что в продуктовом появилось, кое-что в промтоварном. Хлеб всегда уж купить можно было, колбасу чайную, с яичками куриными стало полегче и даже с маслом сливочным.

– Давай, – говорит Ульяна Менделю, – вторую свадьбу устроим, поскольку у нас с тобой вторая жизнь началась, и должна она быть лучше первой. Тем более общий достаток увеличился и народ повеселел.

А это были первые месяцы после смерти Сталина, и кое-что еще к лучшему менялось. Дедушка Козлов, к примеру, на Маленкова сильно надеялся, который «в Бога верует православного и для народа православного истинно коммунистическую жизнь собирается устроить».

– Попляшем, – говорит Ульяна, – да и попоем, раз такое дело. И выпить можно по такому случаю.

– Согласен, – отвечает Мендель.

И сыграли Ульяна с Менделем вторую свадьбу, собрался народ поселковый, все разодетые, все веселые да певучие. И тетя Вера с дядей Никитой на свадьбу приехали. Ульяна напекла, наварила, насолила, выпивки накупила. Лица у всех красные, как праздничные флаги. Все веселы, один лишь дедушка Козлов от выпивки помрачнел и громко начал какую-то историю рассказывать.

– Он мне кричит: разойдись отсюда! Я ему: ах ты, смердячий рот! За такие вещи, говорю, не в морду бьют, а в висок.

– Ладно тебе, дед, – говорит дядя Никита, – ладно настроение портить… Жизнь пошла веселая. – И запел: – Я другой такой страны не знаю, где так долго дышит человек…

Дядя Никита если запоет, то обязательно хоть слово, да вставит не то. В спортивном марше пел не «закаляйся, как сталь», а «напрягайся, как сталь». Мендель же умышленно слова коверкал, шутки ради: «Две гитары за стеной жалобно заныли, кто-то свистнул патефон, милый мой, не ты ли?..»

Тут тетя Вера, в свою очередь тоже выпившая, заявляет:

– Подсладить бы…

И сразу несколько догадливых голосов с разных сторон:

– Горько!

Припала Ульяна губами к губам Менделя – не оторвешь.

– Будя, – кричат, – задавишь!

А дедушка Козлов ладони у рта сложил лодочкой.

– Брысь! – кричит.

Отпустила Ульяна Менделя, сняла с гвоздика отцовскую балалаечку, и начался общий свадебный перепляс с припевками. Уж кто как мог, так и плясал, а уж пел – кто в каком голосе. Даже бабушка Саввишна Котова запела, а дедушка Козлов говорит:

– Голосина как волосина. Так тонка.

Жердочка еловая, досточка сосновая.
По той жердочке никто не хаживал.
Перешел наш Мендель-свет.
Перевел Ульянушку…

Напоминаем, в народных песнях переход по жердочке-досточке через реку всегда означал любовь. Хоть и без песни всем было понятно, что Ульяна да Мендель – это любовь. Поздней ночью, когда уж всё угомонилось, все разошлись и легли Ульяна с Менделем в лунном полусвете, спросила Ульяна:

– Менделечек, не боязно тебе, что у меня родинка слева?

– Что ж мне боязно должно быть?

– Старые люди говорят, родинка слева у женщины приносит несчастье мужчине.

– Бабские сказки, – говорит Мендель и целует родинку у левого плеча Ульяны.

Тогда припала Ульяна к Менделю и забылась надолго. Очнулась от детского плача. Давидка плакал – видно, приснилось ему что-то. Плакал уж несколько минут, да Ульяна не слыхала. Вот как любила мужа, даже о детях забывала, точно, кроме ее и Менделя, на свете пустота.

Однако люби не люби, а каждый день жить надо. Пошли дни один за другим. На Пижме лед раньше времени сломало – значит, лето будет теплее обычного. И действительно, расцвело раньше. Брусничные кусты вечно зеленые, как хвойные деревья, а черничные меняют листву. Но и они к концу мая зеленью покрылись, и уж ягоды начали наливаться. В июле можно было чернику потреблять.

Как-то утром собралась Ульяна печь черничный пирог. Растопила печь, замесила тесто, помяла чернику, когда вдруг в дверь стучат. Мендель был на работе, Давидка – в детском садике, Тоня к соседским детям пошла, кто б это? Отпирает дверь – Раиса Федоровна. Сразу в глаза бросилось: на улице жарко, а она вся в черном – туфли черные, платье черное, длинное, шляпка черная. Поздоровалась.

– Извините, – говорит, – я попрощаться пришла и кое-что передать. Меня Анатолий Федорович просил. Вот вазочку Тоне завещал и вот записку написал. Больше ничего не осталось, всю мебель в область забрали. Говорят, в музей.

– А что с Анатолием Федоровичем? – спрашивает Ульяна.

– Умер.

– Умер? – Ульяна от неожиданности и печали рот ладонью прикрыла, помолчала. – Когда умер? Я и не слыхала.

– Неудивительно. Вы ведь счастливая, а счастливые часов не наблюдают, газет не читают, ничего вокруг не видят. Я знаю, к вам муж вернулся.

– Да, вернулся, – растерянно говорит Ульяна, точно она виновата в своем счастье перед этой женщиной. – Вы проходите… Извините, у меня руки в тесте, пирог черничный печь собралась.

Села Раиса Федоровна у стола, вынула из темной сумочки вазочку фарфоровую и на стол поставила, а рядом записку положила.

– Это Тоне, – говорит.

В записке были две строчки нетвердым почерком: «Я тебя люблю. Ты должна учиться».

– Когда это случилось?

– Неделю назад.

– Я и про похороны не слыхала.

– Хоронить буду в Абрамцеве, там, где мама, и папа, и Костя похоронены. Добилась. Мертвому выезд разрешили. Так что Анатолий Федорович теперь в дороге на родину. И я уезжаю. Слава богу, никогда больше не увижу эти места, этих людей.

– А вот Мендель мой соскучился по этим местам, – сказала Ульяна, – я ему предлагала: если хочешь, продадим дом, поедем жить к тебе на Украину. Нет, говорит, мне здесь больше нравится.

Раиса Федоровна сидела у стола сгорбившись, подперев голову тонкими своими, аристократическими пальцами.

– В Абрамцеве я жить не собираюсь, – сказала она после паузы, – что мне там делать? Старого народа давно уж нет, отцовских столяров. Всюду одна и та же рвань, а руководят разжиревшие комбедовцы. Всюду светят красные зори, всюду красная астрология, от которой зависят наши судьбы.

– Где ж вы жить будете? – спросила Ульяна.

– Поеду в Литву, все-таки ближе к Польше, к Европе. Может быть, приму католичество. Мой брат был православный, верил в русского Бога, а мне это азиатское христианство не по душе… У вас муж еврей, я вам завидую. Я б и сама вышла замуж за еврея, за поляка, за литовца, только не за русского. Не люблю русских, ненавижу русских. Народ грубый, злой, а если доброта, то юродивая. – Она вдруг закашлялась, может быть, от подступившего к горлу кома ненависти, и кашляла долго, все не могла остановиться. Ульяна налила ей в стакан брусничной настойки. Раиса Федоровна сделала несколько глотков, вытерла губы кружевным платочком. – Я, конечно, на личное счастье больше не надеюсь. Как поется: только раз бывают в жизни встречи, только раз судьбою вьется нить…

Глаза ее были измучены злобой и страданием, а губы дергались, извивались, точно жестокая насмешка и горький плач боролись меж собой и каждый пытался вылепить из этих дрожащих губ свое, но ни того, ни другого не получалось.

Когда Раиса Федоровна ушла, Ульяна долго не могла успокоиться. От этого беспокойства пирог с черникой не получился, подгорел, лопнул, черника вытекла, что еще более Ульяну расстроило. Пришел Мендель с работы – сразу увидал: жена не в духе.

– Что с тобой? – спрашивает.

– Пирог подгорел, – отвечает.

– Не беда, новый спечешь.

Сходила Ульяна за Давидкой в садик, кликнула Тоню; сели обедать. Поели щей, Тоня спрашивает:

– Где же пирог?

– Пирог сгорел, – говорит Мендель, – но ты не расстраивайся, Тоня, я вам с Давидкой в поселковом магазине конфет-тянучек купил. – И дал тянучек.

Дети успокоились, а Ульяна все не может.

– Тебе тоже тянучек дать? – шутит Мендель.

– Возьми, Тоня, Давидку, – говорит Ульяна, – и пройдись после обеда. Погода, гляди, хорошая.

Ушли дети, и говорит Ульяна:

– Пирог жалко, но не в пироге дело. Тут Раиса Федоровна приходила, сестра Анатолия Федоровича.

Потемнел сразу лицом Мендель.

– Ей что надо здесь?

– Пришла проститься, она уезжает, Анатолий Федорович ведь умер.

– Ну и что, – говорит Мендель, – знаю я, что умер. В поселке слышал.

– Знал и мне не сказал, – говорит Ульяна.

– А что в этом интересного? В поселке говорят: скатертью дорога. Воздух станет чище.

– Нельзя так, Миша, против мертвого. Это был добрый человек. Он вот Тоне вазочку передал и записку.

– Какую еще вазочку и записку? – совсем обозлился Мендель, взял у Ульяны записку и прочел вслух: – «Я тебя люблю. Ты должна учиться». Чего это он чужих детей любит и им советы дает? Своих надо было завести, контрик недорезанный. Эту вазочку вместе с запиской я в Пижму выброшу. Незачем Тоню расстраивать.

– А греха не боишься, Миша? Все-таки воля покойного.

– Ты, я вижу, у меня верующая. Это он тебя религии обучил, бабским сказкам. Ты, я знаю, к нему бегала. – И выразился грязно.

Может, впервые за их жизнь так выразился, и впервые в их жизни был день несчастливый. Даже когда Мендель оставил ее, Ульяна его продолжала любить, а в этот день любить перестала и не любила его до следующего утра. Спать легла отдельно на лавку и всю ночь проворочалась. Понимала, что ревнует, понимала, что насплетничал поселок, понимала, что расстроен письмом от матери, прибывшим накануне, а все не могла простить.

«Мендель, – писала мать, – что ты наделал, куда ты уехал, с кем ты живешь? Ты укорачиваешь мне жизнь, я не сплю ночами, и, если б собака сейчас лизнула мое сердце, она бы сдохла».

Первую половину ночи Ульяна злилась на Менделя, а когда начало рассветать, подумала, как бы хорошо поехать на родину к Менделю, познакомиться с матерью Менделя и братом Менделя, Иосифом. Да так удачно съездить, чтоб им понравиться.

Мендель тоже всю ночь ворочался, лежа один в постели, соскучился по Ульяне, еле дождался рассвета, пришел к ней босой, стал на колени и попросил прощения. Ульяна тут же его простила, и опять зажили хорошо. А вазочку с вложенной в нее запиской покойника Мендель все-таки в Пижму выбросил. Так никогда Тоня и не узнала про то, что ей Анатолий Федорович завещал. Зато вместо сгоревшего черничного пирога решила Ульяна настряпать

пельменей с мясом и луком. Мясо в совхозном поселке раздобыла у знакомого Вере мясника. Специально в совхоз за мясом ездила.

– Можно, конечно, и пельменей с редькой налепить, – говорит Ульяна Вере, – я, случается, и с редькой делаю. Натру редьку, с маслом смешаю и леплю. Но мои более с мясом любят. Еще бы сметанки достать.

– Балуешь ты своего, – говорит Вера, – смотри, мужчин баловать нельзя.

– Мой Мендель – мужчина особенный. А покушать кто не любит? Помнишь, как семечки вместо хлеба грызли? Теперь, слава богу, не то, Мендель у матери жил, хорошо питался, и я его питать не хуже буду. Зачем же мне уступать?

Так побыла у сестры, поговорила, мяса достала – и назад. По дороге на станцию Лука Лукич встретился.

– Доброго здоровья, – говорит, словно ничего не случилось, словно не рванула она его за бороду, когда он этой бородой ей в лицо полез целоваться.

– Здравствуйте, Лука Лукич, – отвечает, а потом, дорогой, как вспомнит, так смеяться начинает. Однако одновременно думает: о Луке Лукиче надо б Веру предупредить, пусть при Менделе его не упоминает. Мало ли что Мендель себе в голову возьмет.

На следующий день, прямо с утра, взялась за пельмени, поскольку работа эта серьезная, если ее с толком делать. Мясо от сухожилий и пленок очистить, фарш приготовить, не пересолить, лук измельчить, потом тесто приготовить на яйцах, раскатать и прочее. Полдня провозилась, спины не разгибая. Вдруг вспомнила: надо бы к Козловым за посудиной сходить. В кастрюле варить долго, и слипнуться могут, а у Козловых специальная низкая широкая посудина для пельменей имелась. Глянула в окно – льет не переставая. Хорошо, хоть Тоня калоши надела. И тут же подумалось: как бы Мендель не узнал, кто Тоне калоши подарил. Может, предупредить Козловых, чтоб не говорили, а может, не надо – зачем напоминать, авось забудется. Так в мыслях и заботах накинула Ульяна плащ и, скользя по грязи, побежала в тупичок к Козловым.

– Пельмешки задумала? – говорит дедушка Козлов.

– Задумала, – отвечает Ульяна, – у меня недавно черничный пирог сгорел, не углядела, жалко. Дай, думаю, взамен пельмешек налеплю.

– Черничный пирог – это жалко, – говорит дедушка Козлов, – вкусна черница… Вкусна, да дорога. Слышала, в черничнике скелет обнаружили.

– Какой еще скелет? – испугалась Ульяна.

– Человеческий.

– Все б тебе, старому, пугать, – ворчит бабушка Козлова, – может, этот скелет еще с царя Гороха лежит…

– Может, с Гороха и лежит, – говорит дедушка Козлов, – да череп проломлен и истлевшая одежда рядом. Обувь валяется.

Ульяна уж и не рада, что за посудиной пришла. Взяла да быстро домой. А там Мендель дожидается с детьми. Он с работы зашел в детский сад и Давидку взял. Тоня у соседских ребят была, увидала в окно – отец с Давидкой возвращается, – выбежала.

– Хорошо, что вся семья в сборе, – говорит Ульяна, – сейчас пельмени будут готовы.

Но начала лепить – и видит, уж не к обеду поспевает, а к ужину.

– Давайте, – говорит, – я к обеду картошки сварю со шкварками, а пельмени – к ужину. Я их налеплю, они постоят, соку наберутся, еще вкуснее будут.

И действительно, удались пельмени. Съел Мендель алюминиевую миску – еще просит. Съел Давидка блюдце – еще просит.

– Сейчас, мои милые Пейсехманы, – говорит Ульяна, довольная, что пельмени удались, – сейчас вон папе еще полмиски наложу, поскольку он по делу торопится, а потом и вам, как сварятся.

Мендель действительно куда-то после ужина собрался и Ульяну попросил калитку не запирать, поскольку он ненадолго. Поел Мендель добавку, полмиски, губы от сметаны отер салфеткой, рыгнул культурно, прикрыв рот ладонью, встал, кепку надев.

– Плащ надень, – кричит вслед Ульяна, – моросит ведь.

Хлестать к тому времени дождь перестал, но моросило.

– Я мигом, – говорит Мендель, – скоро вернусь и еще пельменей поем, если останутся. Вкусны пельмени. – И вышел.

Ульяна отварила пельменей для детей. Те поели. Дала им на сладкое по конфете, а сама принялась варить новые пельмени для Менделя. Пельмени варятся быстро – семь минут, и всплывают в подсоленном кипятке, но ведь и Мендель обещал быстро вернуться. Пельмени всплыли – Мендель не вернулся. Ульяна выловила пельмени и сложила их в миску, а чтоб не остыли, накрыла другой миской. Поставила чайник, чтоб чайку попить. Чайник вскипел – Мендель не вернулся.

Уже потемнело, точнее, более тускло стало, поскольку на Севере летние вечера светлые. Далеко на станции прогудел паровоз – пришел вечерний поезд из совхозного поселка. Дождь стал опять хлестать, но уж с ветром. От ветра сильно хлопнула форточка, и Давидка испугался, заплакал. Ульяна успокоила Давидку, дала ему еще конфету и, чтоб не сидеть без дела, начала мыть посуду, все поглядывая в тусклое окно, но уже с беспокойством. Надо бы детей уложить спать, однако хотелось дождаться Менделя, чтоб уложить их со спокойной душой.

– Что-то мне кажется, папы нашего долго нет, – сказала Ульяна.

– Он, может, опять уехал от нас? – спросила Тоня.

– Ты пустое не говори… Куда уехал? Встретил, наверно, кого. Я пойду посмотрю и плащ ему захвачу. Ты, Тоня, гляди, чтоб Давидка чего не натворил. К печи пусть не подходит, и чайник вон горячий. Лучше у стола посидите, пока я с папой не вернусь. И не отпирай никому, пока не спросишь, кто и зачем. – Сказав так, надела Ульяна плащ, взяла в руки плащ Менделя и ушла.

Сколько просидели дети – не знают. Чайник остыл, пельмени остыли, печь уж холодная, а за окном темнота сгустилась. Начал Давидка на стуле ерзать.

– Ты чего? – сердито говорит Тоня. – Не балуй, сиди тихо, пока мама с папой не вернутся.

– Я пипи хочу, – говорит Давидка.

Повела Тоня брата в угол, где горшок стоял, пописал Давидка, и обратно его к столу привела, как мать наказывала. Давидка уж спит на ходу. Сел на стул, ноги поджал, голову свесил и посапывает. Тоня крепилась, крепилась – зажмурится и уплывает. Поплавает так в темноте, в покое, глаза откроет и опять возвращается к столу, за которым они с Давидкой сидят. Последний раз открыла – рассвет уже, солнце за окном, а мамы и папы нет. Давидка на стуле спит калачиком, на столе – те же остывшие пельмени да остывший чайник. Только разволновалась от этого Тоня, загрустила, как в дверь стучат.

«Вернулись», – обрадовалась, но спрашивает, как мать наказывала: кто это и зачем?

– Тетя Вера, – отвечают.

Отперла Тоня дверь тете Вере и говорит:

– Наших папы и мамы нет дома. Они еще с вечера ушли, и мы с Давидкой одни.

– Знаю, – отвечает тетя Вера, – бери Давидку, веди его в детский садик и сама там оставайся, так как ваших отца и мать убили.

Тут только заметила Тоня, что лицо у тети Веры красное, распухшее и мокрое. Напугалась Тоня таких слов тети Веры и такого ее лица, под кровать полезла, и Давидка вслед за сестрой туда же. Тогда тетя Вера села к столу и стала с громким плачем жадно холодные пельмени есть прямо руками. Съела тетя Вера пельмени, холодным чаем запила, вытащила детей из-под кровати и повела их в детский сад. А по поселку, по улице Красных Зорь, по тупичкам уже неслось страшное слово: амнистия. И в разных направлениях, до Свердловска ли, до Мурома

ли, по поездам, по станциям, по городам и поселкам: амнистия, амнистия. Это была ворошиловская амнистия, выпустившая на свободу тысячи матерых «ворошиловских стрелков», действующих, впрочем, в основном холодным оружием.

Горе маленького ребенка или животного не сердечно, не душевно, как у взрослого, – оно в глазах. Заплачет, заскулит по мертвому, как по отнятому лакомому кусочку или разбитой игрушке, однако глаза живут самостоятельно, и они непередаваемы и непереносимы.

Пока шла Тоня по поселку и вела за руку Давидку, то более ныла, чем плакала, но когда пришли в детский садик, посадили Тоню на стул и подошел к ней седой дядя в очках с иголочкой, то Тоня закричала совсем громко.

– Дурочка, – сказал очкастый, – тебе прививку сделать надобно, поскольку ты теперь будешь жить не в семье, а в коллективе.

Он велел воспитательнице крепко держать Тоню и больно уколол Тонину руку. Впервые в жизни осталась Тоня одна в чужом месте и среди чужих людей. Хорошо хоть Давидка с ней был и спали они вместе на одной койке, обнявшись. Давидке Тоня сначала говорила, что мама уехала вслед за папой, чтоб его вернуть. Но когда через два дня пришли тетя Вера с дядей Никитой и взяли их на похороны, то уж вынуждена была сказать правду. Да и что говорить, даже четырехлетнему ребенку все стало ясно, когда вынесли из их дома, где теперь хозяйничала тетя Вера, два гроба, один побольше – Менделя, второй поменьше – Ульяны. Вынесли и понесли их рядом. Впереди шел и играл оркестр мочально-рогожной фабрики, а позади за гробом среди родственников семилетняя Тоня вела за руку четырехлетнего Давидку.

Два момента наиболее страшны в похоронах: когда выносят гроб из дома и когда опускают гроб в могилу. Пока же несут гроб, пока он в пути, то есть в этом какое-то последнее праздничное торжество. Похоронная процессия растянулась далеко по улице Красных Зорь, передние уж были на кладбище, а задние все шли. Почти весь поселок провожал Ульяну с Менделем, поскольку давно уж не было такого зверского убийства, чтоб сразу отца и мать. Весь поселок провожал, но Менделя родных не было, поскольку не знали их адрес и нельзя было известить. В кармане Менделя, правда, обнаружили неотправленное письмо, но оно было так сильно запачкано кровью, что могли разобрать только отдельные фразы и слова, которые, как всякая предсмертная речь, звучали страшно, особенно повторенное три раза: «Чтоб я так жил». Видно, кому-то в чем-то клялся Мендель, а кому клялся и в чем клялся – не разобрали. Ясно было только, что клятву эту Мендель нарушил, не выполнил, выскочив из дома на минутку в тот дождливый вечер. Может, Мендель как раз и выскочил опустить в почтовый ящик это письмо, которое забыл отправить днем. Точно напомнил кто-то: письмо матери забыл отправить. Кто в таких случаях напоминает, тоже ясно: костлявая. Напоминает и дорогу указывает.

В поселке было три почтовых ящика. Один – у почты, возле мочально-рогожной фабрики, второй – с противоположного конца улицы Красных Зорь, там, где она уже переходит в грунтовку, и третий – посредине, у пятого тупичка, по которому, если пойти, выйдешь к подвесному мосту через Пижму и далее по этому мосту прямо в черничник. Недалеко от этого среднего почтового ящика Менделя и нашли. Кололи Менделя либо неумело, либо со слишком большим остервенением, в два, а то и в три саксона, три мессера, одежда его была залита кровью, и потому ее не взяли. Забрали кепку, забрали ботинки, забрали швейцарские ручные часы, подаренные братом Осей. Забрали и новый Менделя плащ, который несла ему Ульяна. Ульяна лежала тут же в кустарнике, изнасилованная и убитая. С нее тоже сняли плащ, забрали туфли и шерстяную кофту.

5

Круглосуточная группа в поселковом детсадике была дошкольной, потому Давидку оставили, а Тоню отправили в область. Перед отъездом пришли с ней проститься дядя Никита и тетя Вера, обнимали, обещали навещать Давидку и писать Тоне письма. Тетя Вера сильно плакала, но, когда вышли после прощания и муж ее, Никита, начал в который раз говорить «Надо бы детей к нам взять, родные ведь», Вера покраснела, нос ее заострился и глаза сами по себе высохли.

– Куда взять? Ты мне пятерых смастерил и Менделя еще двух на меня повесить хочешь. А жить как?

– Ведь дом Ульяны нам достался, продадим.

– Не дом, а полдома. Полдома и так мне принадлежит по праву наследства.

Уже после отъезда Тони в поселке появился Иосиф, брат Менделя, лысый, с толстым, как у Менделя, носом, но с совершенно иным лицом. У Менделя лицо было глуповатое и доброе, а у Иосифа – задумчивое и хитрое. Иосиф привез подарки: Давидке – барабан, Тоне – куклу в розовом платье, которая закрывала глаза и говорила «мама». Но поскольку Тони не было, куклу Иосиф подарил Зине, дочери Веры. Иосиф приехал, чтоб забрать Менделя и перевезти его в родной город, на Украину, на еврейское кладбище. Он обратился в поселковый совет, и там ему объяснили: требуется согласие ближайших родственников, родной сестры жены. Сначала Вера согласия не давала, а потом дала. В поселке говорили: Иосиф ей хорошо заплатил.

Так после смерти разлучили все-таки Менделя с Ульяной, и осталась Ульяна лежать одна на поселковом кладбище. Тоня, как и отец ее Мендель, тоже из этих мест уехала далеко, и тоже не по своей воле. В области пробыла недолго, и вместе с ребятами-сиротами из других районов отправили ее в город Владивосток поездом, а из Владивостока автобусом – в детский дом села Барабаш Приморского края. Прошла Тоня дезинфекцию, надели на нее кремовое с цветочками, сшитое из кашемировых платков платьице, какое носили в детдоме все девочки, и стала Тоня здесь жить.

Здешние места были совершенно не похожи на родные: климат морской, весной теплый ветер, летом ветер освежающий, но зимой бешеный, порывистый, штормовой. Снега зимой мало, только кое-где тонким слоем. А деревья росли и знакомые, и незнакомые. Например, весной красиво цвела маньчжурская черешня. Пожила Тоня год, и пока еще не прижилась, пока все новым было, то думалось меньше, а больше гляделось. Но как осмотрелась, как привыкла и пошла учиться в школу села Барабаш, вдруг овладела ею сильная тоска по родным местам, а особенно по родителям своим. Придет из школы, сядет у дороги на камень и провожает глазами каждого прохожего или прохожую. Хотела увидеть женщину, хотя бы похожую на ее мать, или мужчину, хотя бы похожего на ее отца. А оттого, что изо дня в день прохожие мимо нее шли всё чужие и даже отдаленно ни мать, ни отца не напоминавшие, появилась у Тони какая-то апатия, безразличие ко всему, особенно по утрам, начало у нее болеть под ложечкой, сосать что-то, давить. Была она уж в школе и в детдоме на плохом счету, учителей и воспитателей слушала невнимательно, с детьми общалась плохо и имела кличку Матерь Божья Курская. Заведующая Нина Пантелеевна ей как-то сказала:

– Чего ты сидишь у дороги, как Матерь Божья Курская? Как икона святая. Прохожие думают, что ты нищенка-попрошайка, и этим ты позоришь звание советской детдомовки.

С тех пор Тоню дети дразнили: Матерь Божья Курская. Ругала Тоню Нина Пантелеевна также и за то, что она ногтями себе на лице прыщики расковыривала – сидит и ковыряет, – а также выщипывала нитки из белья, простыню порвала. Нина Пантелеевна считалась воспитательницей строгой, но справедливой, детей своих детдомовских любила, говорила им:

– Я мать ваша. Не та мать, что родила, а та, что вырастила, выкормила и на коня посадила.

Часто так повторяла, и ребята соглашались – все, кроме Тони, которая однажды застонала, задрожала и крикнула Нине Пантелеевне:

– Вы мне не мать!

За это лишена была Тоня права на Праздник весны, который устраивался каждый год в детдоме к первому прилету птиц. На детдомовской кухне повариха пекла из теста «жаворонков». Каждому доставался такой «жаворонок». Дети привязывали сладких «жаворонков» к шестам, бегали с ними по улицам и кричали, как им велела Нина Пантелеевна:

– Жаворонки прилетели! Весна, весна пришла!

Потом они этих «жаворонков» съедали. А наказанная Тоня сидела запертой в тесной кладовой среди грязного белья и, слушая веселые крики с улицы, вспоминала, как шли они с мамой и Давидкой по шпалам в совхоз к тете Вере и вокруг по обе стороны был лес, а в небе тихо высоко летали жаворонки.

«Ой вы, жаворонки-жавороночки, – вспомнилось Тоне, – летите в поле, несите здоровье, первое – коровье, второе – овечье, третье – человечье».

– Нина Пантелеевна, – крикнула Лида Неизвестных, круглолицая, розовощекая отличница, наушница и любимица заведующей, – а Матерь Божья Курская в кладовке молится.

Нина Пантелеевна отперла кладовку и сказала окружавшей ее веселой, разгоряченной игрой в «Жаворонки» детворе, указывая на сидящую в уголке Тоню:

– Смотрите, дети, она ждет не прилета птиц, а прилета ангелов.

Ребята смеялись, кричали:

– Матерь Божья Курская, вот ангелочек полетел!

– Пойдемте, ребята, песни петь, – сказала Нина Пантелеевна, – а ей пусть ангелы песни поют. – И опять закрыла Тоню в кладовке.

С тех пор начала Тоня думать не только про свою мать Ульяну и отца Менделя, но и про ангелов. Ангелы казались ей похожими на серых певчих дроздов. Много дроздов летает на улице Красных Зорь в конце теплого лета, когда поспеет черная рябина, отчего их прозывают «рябиновики». Подлетит, усядется на дерево повыше и осматривается, нет ли кого в огороде, потом вниз пикирует через частокол, начинает сладкую рябину клевать. Бабушка Козлова, или бабушка Саввишна Котова, или иная бабушка выскочит, в ладоши хлопает, пугает дрозда, ругает его, стыдит, а он уже поел свое, уже насладился. Хорошо в родных местах. Жаль, писем Тоня не получала: тетя Вера написала одно письмо, а Давидка писать не умел. Но приснилось Тоне, что она опять на улице Красных Зорь. Хоть мать ее и отец по-прежнему мертвые, даже и во сне, зато вокруг – множество знакомых с детства людей и летают ангелы, которых Тоня кормит из рук черной сладкой рябиной. Приснился такой сон Тоне, и затосковала пуще прежнего.

Однажды пришел в детдом некто Машков. Он хотел взять на воспитание мальчика, но Тоня подбежала к нему с криком:

– Папочка, папочка, ты пришел за мной!

Машков совсем не был похож на Менделя, однако слишком уж было Тоне в детдоме плохо и одиноко. Машков разволновался, взял Тоню на руки, поцеловал ее и оформил у Нины Пантелеевны, забрал с собой. Повез он Тоню во Владивосток.

Владивосток – город с гористыми крутыми улицами, а если смотреть из окна вечером, то огней масса, словно звезд на небе. Одни неподвижны, другие ползут на гору либо с горы, дрожат, третьи плывут в разных направлениях, искрятся.

– Это бухта Золотой Рог, – объяснил Тоне Машков, – это катера и буксиры. А вон, гляди, – теплоход.

Во тьме плыла гора разноцветных искристых огней, которая словно таяла, как льдина, растекаясь в разные стороны по темным волнам. Как жаль, что папа Мендель и мама Ульяна этого не видят, а брат Давидка далеко, на улице Красных Зорь. Тоня любила стоять у окна, упершись в стекло лбом, и смотреть. Но новая мама Тони, Светлана Машкова, стоять долго не

разрешала и отправляла спать. Спала Тоня в мягкой хорошей постели, в отдельной комнате. Квартира у Машковых была большая, с белым роялем, на котором Светлана Машкова играла скучную музыку. Новая Тонина мама еще меньше, чем Машков на Менделя, похожа была на маму Ульяну. Это была черноволосая, гладко причесанная женщина маленького роста, с зелеными камушками в ушах. Мама Светлана учила Тоню правильно держать нож и вилку во время еды и учила, что с чем когда едят.

– К рыбе какая подливочка? – спрашивала мама Светлана.

– Беленькая, – отвечала Тоня.

– А к мясу?

– Красненькая, – отвечала Тоня.

Хоть Тоня по-прежнему тосковала, но было ей здесь лучше, чем в детдоме. Однако через месяц Машков вновь отвез Тоню в село Барабаш и сдал в детдом. Видно, не понравилась. Уехал, не попрощавшись, и Тоня его быстро забыла. Из всей жизни у Машковых запомнилось: к мясу подливочка красненькая, к рыбе подливочка беленькая. Нина Пантелеевна встретила Тоню с досадой – думала, избавилась от дурной овцы. А дети кричали:

– Матерь Божья Курская вернулась, – и весело пели ей вслед:

Уродилась я на свет горькая сиротка.
Родила меня не мать, а чужая тетка.

Зато к дороге, у которой сидеть любила, пошла Тоня как к знакомому месту, и камень, на котором сидеть любила, тоже родным показался. Когда сидела теперь Тоня у дороги, то смотрела не только на прохожих, но и в небо – не летят ли ангелы.

Холодало, задули с моря ледяные ветры, собрались птицы в большие стаи и улетели к другой далекой весне и другому далекому лету. Стало пусто в белом небе, да и на земле озябшие прохожие старались быстрее промелькнуть мимо Тони по сначала мокрой, а затем скользкой дороге. И все-таки приходила Тоня, смотрела и ждала: может, просто из упрямства, а может, уже догадывалась, что стаи ангелов всегда летят навстречу птицам, от весны и лета – к осени, от осени – к зиме. Не туда, где радость и пение, а туда, где вера и терпение.

Минут необъятные российские годы, пройдут бесконечные российские дни, и опять наступит тот дождливый вечер с пельменями, который переломил Тонину жизнь у самого корня. Но на сей раз вечер перейдет не в ночь, а сразу в рассвет, станут блекнуть земные зори, как блекнут горящие свечи, освещенные сильным заревом, и услышит Тоня чистый, заоблачный голос, как бы единый голос Ульяны и Менделя:

– Приди, ближняя моя, приди, голубица моя.

Тогда ответит Антонина радостно:

– Готово сердце мое, Боже, готово.

Апрель-май 1985 г.
Западный Берлин

Чок-Чок

* * *

Играй, прелестное дитя,
Летай за бабочкой летучей,
Поймай, поймай ее шутя
Над розой …… колючей,
Потом на волю отпустя.
Но не советую тебе
Играть …… с уснувшим змием —
Завидуя его судьбе,
Готовы ……
Искусным пойманный перстом.

* * *

Как широко,
Как глубоко!
Нет, Бога ради,
……

А. С. Пушкин. «Отрывки»

* * *

Увы! напрасно деве гордой
Я предлагал свою любовь!
Ни наша жизнь, ни наша кровь
Ее души не тронет твердой.
Слезами только буду сыт.
Хоть сердце мне печаль расколет.
……
……

А. С. Пушкин. «Анне Н. Вульф»

По свидетельству А. П. Керн, эти стихи были написаны для альбома А. Вульф, причем Пушкин «два последних стиха означил точками». Однако в устной передаче Керн сохранились и последние нескромные стихи.
Примечание издательства «Наука». Ленинград, 1977

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

*А. С. Пушкин. «К***» (А. П. Керн)*

1

Девятилетний Сережа Суковатых, сын известного в городе гинеколога Ивана Владимировича Суковатых, был приглашен на день рождения к восьмилетней Бэлочке Любарт.

Бэлочкин день рождения почти совпадал с новогодним праздником, она родилась тридцатого декабря, и, когда Мери Яковлевна, Бэлочкина мама, включила электричество, то радостно, сказочно засверкали игрушки на елке и большое хрустальное блюдо с горячим яблочным пирогом. Мери Яковлевна, со сверкающими камушками в ушах, уселась за фортепиано, положила на клавиши белые полные пальцы и, сверкая зеленым камнем на одном из пальцев, заиграла и запела приятно и душевно песенку собственного сочинения:

В семье родилась Бэлочка,
В семье она росла,
Зимой и летом стройная,
Красивая была.
Тра-ля-ля. Тра-ля-ля.
Тра-ля-ля-ля-ля.

В этот момент в комнату из коридора снежной королевой вошла Бэлочка в сверкающем, усыпанном блестками, как снежинками, коротеньком белом платьице и в таких же сверкающих белых башмачках. На голове у Бэлочки была белая сверкающая корона, а в руках – плетеная корзинка, обтянутая куском усыпанного блестками белого шелка. Мери Яковлевна запела:

Теперь она нарядная
На праздник к нам пришла
И много, много сладостей
Детишкам принесла.
Тра-ля-ля. Тра-ля-ля.
Тра-ля-ля-ля-ля.

Бэлочка тотчас принялась вынимать из корзинки пакетики с подарками – конфетами, коржиками, изюмом и орешками. Каждый, кто получал подарок, должен был платить: танцевать, петь или читать стихи. Пока очередь не дошла до Сережи, он напряженно, мучительно перебирал, обдумывал, что бы такое сделать, чтоб выделиться, отличиться и привлечь внимание Бэлочки, которую полюбил, едва увидав и пожав ее мягкую влажную липкую ладошку.

Бэлочка была полненькая, с толстенькими ляжечками, и даже маленький двойной подбородочек у нее уже намечался, подбородочек сладкоежки. Она была похожа на мать: имела такие же густые темные волосы и ярко-голубые глаза, большие и выпуклые. Только темные волосы Бэлочки, по-детски свободно спадающие, повязаны были красной шелковой ленточкой, а Мери Яковлевна поднимала тяжелую волну своих волос кверху и укрепляла их серебряной заколкой, украшенной красными гранатовыми камнями.

Мери Яковлевна, доцент кафедры дошкольного воспитания местного пединститута, была женщина еще молодая, красивая, белолицая, белошеяя, веснушчатая. Впрочем, веснушки свои она не любила. Весной и осенью веснушки густо покрывали ее лицо и тыльные поверхности кистей. Теплой же весной и летом, когда надо было носить открытые платья, они появлялись

также и на груди, и на плечах. Мери Яковлевна вела со своими веснушками бесконечную борьбу, употребляя и ртуть, и сулему, и перекись водорода.

– У тебя, Мери, кожа замечательная, а ты своими мазями разрушаешь ее верхний слой, – говорил отец Сережи Иван Владимирович.

Сережин отец был вдов, жена его, Сережина мать, умерла в ранней молодости от опухоли мозга, и Сережа ее не помнил. А отец Бэлочки, Григорий Ионыч Любарт, погиб под Будапештом, и Бэлочка его помнила смутно, как какой – то силуэт. Мери Яковлевна посещала Ивана Владимировича как гинеколога на дому, поскольку он имел частную практику, но некоторое время они были также близки как мужчина и женщина.

– Эти твои желтоватые и коричневые пятнышки, – говорил Иван Владимирович о веснушках Мери Яковлевны, – эти ephelidis, – говорил он, разглядывая ее голое полноватое тело, утомленно лежащее, белеющее на белой, смятой недавней страстью простыне, – эти твои веснушки для меня как вторичные половые признаки.

– Ты, Ваня, теряешь чувство меры, – говорила Мери Яковлевна.

– Потеряно чувство меры, потеряно чувство Мери, – шутил Иван Владимирович.

Связь свою они скрывали, особенно от детей, Сережи и Бэлочки, которые учились в разных школах и вообще имели разные интересы.

Сережа был не по летам рослый, физически развитый, спортивный мальчик, и, хоть учился он хорошо, Иван Владимирович опасался, что улица может на него дурно повлиять. Недавно Ивана Владимировича вызывали в школу, показали какую-то свинчатку, у Сережи отнятую, сказали, что от него, случается, пахнет табаком и что его видели несколько раз среди тех уличных подростков, что собираются у лодочной станции общества «Торпедо», которой заведует известный в городе спортсмен и хулиган Кашонок. У Сережи уже есть уличная кличка – Сука.

– Это как же, дружище? – позвав Сережу в кабинет, говорил Иван Владимирович. – Ведь это к чему приведет, если так продолжится? Кем ты станешь, скажи мне?

– Гинекологом, – ответил Сережа и посмотрел на отца темными черешнями покойной матери.

«Вот так же и она глядела, когда я узнал о ее измене с этим… волейболистом. Милая, интеллигентная, любила меня и вдруг изменила с этим скотом, – он глянул на Сережу. – Сейчас очень похож. Чувство вины вообще подходит подобным лицам… Однако я не о том думаю…»

– Я специально молчал в надежде, что ты сам поймешь, кем станешь, если будешь идти этим путем, – сказал Иван Владимирович. – Ты станешь пьяницей, у тебя будут дрожать руки и ноги. Более того, ты станешь преступником, тупым и бессердечным!

«Не то, не то я говорю. Матери ему не хватает… Как к его сердцу добраться? К ее сердцу я так и не добрался… Страдал, кричал, грозил, но к сердцу не добрался и не простил. Простил, только когда умирала».

Иван Владимирович потянулся к стоящей на столе металлической банке из-под монпансье с трубочным табаком, но, глянув на Сережу, отдернул руку и взял из пакетика мятную лепешку.

– Я, папа, курить больше не буду, – сказал Сережа. – Я хотел попробовать, но мне не понравилось. Горько, противно…

– Дело не в том, понравилось тебе это или не понравилось, а дело в том, что это дурная привычка. Есть дурные привычки, которые нравятся. Никто не застрахован от слабостей, от непоправимых ошибок… – «Опять не то говорю», – подумал Иван Владимирович. – Я имею в виду, что исправить их нельзя, раз они совершены, но можно раскаяться от души, искренне… Я, дружище, не вижу твоего искреннего раскаяния, одни лишь слова. А все от того, что ты себя не уважаешь. Например, каждый человек должен уважать свою фамилию, какова бы она ни была. Наша фамилия – Суковатых, происходит от слова «сук». Сибирская, таежная, честная

фамилия. Ты же позволяешь своим уличным приятелям звать себя Сука, словом грязным, хулиганским. Это что ж, у всех ребят, с которыми ты встречаешься, есть клички?

– У всех.

– И у этого, как его, у твоего друга, с которым тебя часто видят?

– У Афоньки?

– Да, у Афоньки… У Афанасия. У него тоже кличка?

– Тоже.

– Какая, любопытно?

– Жид.

Лицо у Ивана Владимировича исказилось, точно он съел нечто кислое или горькое.

– Какое скотство, – сказал он, поморщившись. – Это, дружище, подло. Это не принято среди порядочных людей. Это какая-нибудь грубая, суеверная старуха, какая-нибудь Дуня, которая водила тебя в церковь, заставляла тебя целовать крест, может быть, целованный до тебя каким-нибудь сифилисным, и заставляла пить воду, ложно именуемую святой, из кружки, которой, возможно, пользовался какой-нибудь туберкулезный… Мерзко! Твой дед, Владимир Сергеевич, земский врач, всегда защищал нацменьшинства; ты же берешь пример не с него, не с меня, отца твоего, не с иных порядочных людей, а с Дуни…

Дуня была домработница и Сережина няня. Была она худа, морщиниста, кожа словно присохла к ее костям, но, когда рассказывала Сереже всякие истории да небылицы, глаза у нее светились молодо.

«А в лесу-то, Сережа, – окала Дуня, – в лесу-то жил злодей, покоритель людей. И взял он в лес-то к себе девицу распрокрасавицу, Фелицию Ярославну. У-у-у… О-о-о, – слезы льет Ярославна, – у-у-у… О-о-о…»

Бабушку Дуню Сережа любил и помнил. Он очень огорчился, когда после случая с церковью отец ее уволил, тем более что о церкви Сережа сам же и проговорился. Теперь вместо Дуни домработницей была Настасья, крепкая девка с румянцем на щеках, происходившая откуда-то из болотистых лесов. Вместо «лапша» она говорила «лапшина», вместо «жаркое» – «жаренка», на «капусту с мясом» – «качанья с мясом». Готовила эти и иные кушанья она действительно хорошо, дом, в отличие от бабушки Дуни, содержала опрятно, но была груба, тупа и слушала только отца, который был ею доволен и доверял ей. Сказок она никаких не знала, но отец и этим был доволен, поскольку считал, что сказки бабушки Дуни вызывали у Сережи ночные детские страхи. Сережа в раннем детстве часто вскрикивал и плакал во сне. У Ивана Владимировича были свои, как он говорил, медицинские принципы воспитания сына. Так, он запрещал покойной жене его убаюкивать, считая, что убаюкивание мальчиков даже двухлетнего, трехлетнего возраста женскими руками может со временем вызвать дурную привычку к онанизму. Что же касается отношения к сказкам бабушки Дуни, то подтверждение своей правоте он нашел позднее у Мери Яковлевны, в ее книжке, выпущенной областным издательством. Эта книжка была расширенным рефератом диссертации «Влияние детских сказок на формирование личности ребенка дошкольного возраста».

«Сказки, сообщаемые детям младшего возраста, – писала Мери Яковлевна, – должны быть совершенно лишены поэтического элемента. С одной стороны, детям этого возраста недоступна поэтическая прелесть этого элемента, в котором чудесное поражает не более истинного, а с другой, элемент этот сильно действует на аффективную сторону и вызывает внезапные перемены в детских настроениях, он может оказать вредное влияние, преждевременно потрясая детскую нервную систему сильными эмоциями».

В подтверждение подобных взглядов Мери Яковлевна с раннего детства сама следила за книжками для Бэлочки и сама их читала перед сном. Книжки, подобранные ею, были разнообразны и поучительны: «Про мышь зубатую и воробья богатого», «Как дети мыли пол», «Егоза Иванович», наконец, Лев Толстой, «Мужик и огурцы». Но любимая книжка Бэлочки

была «Жизнь и приключения лесной белочки Чок-Чок», ныне забытого, а некогда популярного дореволюционного писателя Венцеля. Поэтому Бэлочкина кличка Чок-Чок, заимствованная из приятной поучительной сказки, была самой же Мери Яковлевной и придумана. А Сереже, из-за пробелов в воспитании, кличку придумала улица – Сука.

– Ты понял, что это мерзко, дружище? У тебя есть имя Сергей и фамилия Суковатых. Точно так же и у этого мальчика, которого вы именуете нехорошим фашистским словом, есть фамилия… Как его фамилия?

– Обрезанцев, – сказал Сережа.

Иван Владимирович вдруг покраснел и закашлялся.

– Посиди здесь, – сказал он глухо и быстро вышел, точно по срочной нужде, закрыв за собой дверь кабинета. Но даже сквозь закрытую дверь, сквозь шум воды из туалета доносились звуки раскатистого, неудержимого отцовского хохота.

«Не то я делаю, не то, – думал Иван Владимирович, – не умею воспитывать! Надо бы посоветоваться с Мери… Однако придумают! Обрезанцев… Смешно!.. Однако нехорошо, что я смеюсь, Сережа услышит. И вообще нехорошо… Двое мужчин, мужское общество, а Сереже скоро десять лет. Надо бы познакомить его, найти подружку, пока он сам не встретился в этой компании с дурными девицами».

Так возник план познакомить сына с Бэлочкой, дочерью Мери Яковлевны. Мери Яковлевна согласилась.

– Скоро у Бэлочки день рождения – вот и повод.

Так Сережа оказался на предновогоднем дне рождения, в комнате, пропитанной запахом горячего яблочного пирога, полной блеска, веселья и музыки. Сережа был влюбчив, несмотря на свою физически крепкую комплекцию, – потому что обычно в подобном возрасте часто мечтательно влюбляются натуры физически слабые и нежные. Но, видно, эти слабость и нежность были у него в материнских глазах-черешнях. Он уже несколько раз влюблялся и всегда с мечтами, с печалями, однако разнообразные объекты его любви, очевидно, о ней не догадывались. И Сережа страшился того, чтоб они догадались. Влюблялся Сережа не только в девочек, но и во взрослых женщин, чему способствовала профессия отца. Когда однажды пациентка отца, тетя Мери, поцеловав большим, красивым, ярко-красным ртом Сережу в щеку, а потом еще раз, в шею, подарила два карандаша и шоколадку, он долго не мог опомниться, вспоминал волнующий, головокружительный запах этих женских прикосновений, раздражавший и манивший. Запомнил он также скуластую теплую щеку тети Мери, ее пухлый широкий носик с большими ноздрями, ее голубой, веселый, манящий глаз под густой темной бровью. Поэтому Сережа с радостью согласился пойти на день рождения дочери тети Мери и, едва увидел эту дочь, как обнаружил в ней многое уже знакомое, но более понятное, более доступное и потому гораздо более привлекательное. Печаль и мечты прошлых влюбленностей сразу испарились, и Сережа понял: настоящая любовь – это веселье. Хотелось танцевать, петь, дурачиться. Однако, распираемый изнутри этим азартным детским вихрем, Сережа, поскольку он чувствовал на сей раз влюбленность свою серьезно, истинно по-взрослому, стал обдумывать, как тут более правильно поступить, и, когда Бэлочка подошла к нему, как подходила она к другим детям, и так же безразлично протянула ему пакет с подарком, он, вместо того чтоб закричать какую-нибудь глупую песенку или запрыгать козлом, вдруг принял позу, как на школьном утреннике, и с пафосом прочел без запинки стишок Пушкина из хрестоматии, за который недавно получил пятерку.

– «Утро». Стих Александра Сергеевича Пушкина, – многозначительно и высокопарно произнес Сережа.

Румяной зарею
Покрылся восток,

В селе за рекою
Потух огонек.
Росой окропились
Цветы на полях,
Стада пробудились
На мягких лугах.

Мери Яковлевна, которая была специалисткой по детскому чтению и писала о том диссертацию, растроганно, горячо зааплодировала, и вслед за ней зааплодировала Бэлочка. Аплодировали и другие дети, но для Сережи главным было то, что аплодировала Бэлочка. Впрочем, ему нравились и другие аплодисменты, он чувствовал себя героем, на него обратили внимание, и то сперва, когда отец привел его, он, будучи со всеми незнаком, сидел чужаком в углу на стуле, тогда как иные свободно подходили к Бэлочке, обнимались с ней и вообще веселились. Теперь же в детском хороводе, который вела Мери Яковлевна, он был рядом с Бэлочкой, держал ее за теплую влажную ладошку и, подпрыгивая на легких, воздушных ногах, едва не взлетал.

– Баба сеяла горох, – начинала Мери Яковлевна.

– Прыг-скок, прыг-скок, – нестройно-весело отвечал хор детских голосов, и Сережа, опьяненный этим весельем, Бэлочкиной влажной ладошкой, красной ленточкой в ее густых волосах, радостно забывался в крике.

– Обвалился потолок, прыг-скок, прыг-скок!

Потом все собрались полукругом у фортепиано, причем Сережа опять оказался рядом с Бэлочкой. Мери Яковлевна взяла несколько шумных аккордов и запела:

Солнце в золоте лучом мне подмигивает,
Через улицу ручей перепрыгивает…

Сережа этой песни не знал, но он умело подхватывал концы слов:

Ах, ручей, чей ты, чей?
Я от снега и лучей,
Я бегу, я смеюсь.
Я сейчас с другим сольюсь.

Потом Бэлочка спела песенку воробья, наклоняя то в одну, то в другую сторону черноволосую головку, перетянутую красной ленточкой, и держа на уровне головки свои ладошки с растопыренными пальчиками:

Чив-чирик-чик-чива-чик.
Чив-чирик-чив-чива-чик.
Чив-чирик-чик-чива-чик.
Чи-и-ик…

Утомленные и возбужденные пением, дети собрались у стола, и Мери Яковлевна начала резать, раздавать каждому по куску яблочного пирога, все еще горячего, липкого и сладкого. Сережа и тут не отходил от Бэлочки, и Бэлочка тоже не отходила от Сережи. Чтоб передохнуть после возбуждающих игр и песен, Мери Яковлевна предложила детям рассматривать книжки. Каждый получил по три книжки, должен был выбрать наиболее понравившуюся, успеть ее прочитать и своими словами передать содержание. За наиболее удачный пересказ давался приз, но какой, Мери Яковлевна не сказала, чтоб возбудить интерес. Три книжки, доставшиеся Сереже,

были «Джек – пожарная собака», «Былины о Василии Буслаевиче и Соловье Будимировиче», а также «В мире брызг и пены» – о водопадах. Все три книжки понравились Сереже, он никак не мог выбрать. Наконец выбрал «Джек – пожарная собака», начал читать, но вдруг передумал и взялся за «В мире брызг и пены». Он прочел более половины книжки и рассчитывал вновь стать первым, стать героем, вызвать аплодисменты, но неожиданно заметил, что Бэлочки в комнате нет и ее книжки лежат нераскрытыми. Все вокруг сосредоточенно листали, читали свои книжки, рассчитывая выиграть приз, но Сережа уже не читал. Без Бэлочки стало скучно, печально, он оглядел комнату с привычно, на своем месте стоявшей и привычно, уже надоедливо блиставшей елкой; глянул в окно, за которым смеркалось и летел большими хлопьями новогодний снег…

Снова оглядывая комнату, заметил, что нет и Алика Саркисова, мальчика Сережиного возраста. И его книги лежали на столе нераскрытыми. Какие – то искры, полосы, пятна вдруг замелькали перед Сережиными глазами. Отойдя от стола, он начал кружить по комнате, подошел к елке, опять заглянул в окно, точно Бэлочка могла оказаться там, могла падать с неба, плавно и тихо, и он хотел разглядеть ее среди хлопьев.

– Чего ты, Сережа, не читаешь? – услышал он и, обернувшись, увидел тетю Мери, которая смотрела на него, растянув губы в улыбке.

– Я… – начал Сережа, но пересохшее горло мешало говорить.

– Что-нибудь случилось?

– Нет… Я…

– Ты хочешь в туалет? – спросила тетя Мери, понизив голос. – Это в конце коридора. – И большой своей белой рукою со сверкающим зеленым камнем на пальце ободряюще провела по Сережиной щеке.

В коридоре было темно, и когда Сережа шел, то ему показалось, что за пухлой от одежды вешалкой кто-то прятался, шептал и чем-то шелестел, но от Сережиных шагов все это притихло.

Сережа нащупал дверь туалета, вошел и заперся, стоял просто так, потому что в туалет ему не хотелось. Выйдя из туалета, он пошел назад и едва не упал, наткнувшись на связки старых газет, сложенных в углу у вешалки. Опять послышались за вешалкой шелест и шум, словно смех, заглушенный ладошкой. Сережа вернулся в комнату, как и вышел, тоскуя.

Конкурс меж тем кончился, первый приз выиграла школьная подруга Бэлочки Лина Думанская, прочитавшая и изложившая своими словами содержание книжки «Жизнь и приключения белочки Чок-Чок». На этот раз Мери Яковлевна и Бэлочка, наконец появившаяся откуда-то, и все остальные аплодировали Дине, как они аплодировали раньше Сереже за его пушкинский стишок «Утро». Сережа стоял в стороне, недовольный, тоскующий, внутренне протестующий, и не аплодировал. Впрочем, он заметил, что и Алик Саркисов тоже недоволен и тосклив. Однако Бэлочка была весела и, как показалось Сереже, несколько раз на него весело поглядывала, но он, замкнувшись, с тяжелой каменной грудью отворачивался. Наконец Бэлочка, когда Сережа стоял у окна, глядя на снег, сама подошла и спросила:

– Отчего ты сердишься?

– Я не сержусь, – опять пересохшим горлом и потому прокашливаясь, ответил Сережа.

– Нет, сердишься! Ты на меня сердишься.

– Не сержусь!

– Врешь, сердишься, – и своими смеющимися голубыми глазами поймала, приклеила Сережины темные, сердито-печальные.

Так боролись они взглядами, и Бэлочкин, игриво-веселый, победил, покорив Сережин, сердито-тоскливый. Сережино лицо потеряло твердость, ослабело, расползлось в улыбке.

– Ты проиграл, проиграл, – засмеялась Бэлочка и, зачем-то оглянувшись, сказала тихо: – Пойдем, я тебе что-то покажу… Пойдем, – и поманила пальчиком Сережу вслед за собой в коридор.

В знакомом уже Сереже темном коридоре, у знакомой, пухлой от одежды вешалки Бэлочка остановилась и, взяв Сережу за руку, потащила в узкую щель между вешалкой и стеной. Сережа шел, пригнувшись, спотыкаясь о связки старых газет, о какой-то старый ящик, еще какую-то старую рухлядь.

– Можешь выпрямиться, – шепотом сказала Бэлочка.

За вешалкой в стене было углубление, очень узкое, но высокое, до потолка, и они стояли, тесно прижавшись, хоть и выпрямившись. Сердце Сережи сильно стучало, уши горели. Он очень волновался, как перед тяжелым экзаменом. Бэлочка была совсем рядом, тепло дышала ему в лицо.

– Чего ты молчишь? – спросила наконец Бэлочка, подышав так минуту-другую.

– Я… Ты… – Сережа начал прокашливаться.

– Я да ты, – засмеялась Бэлочка. – Ты доктора сын?

– Да.

– Гинеколога?

– Да, гинеколога.

Бэлочка опять засмеялась.

– Чего ты смеешься? – спросил Сережа, чувствуя все большую неловкость и не зная, что говорить и что делать дальше.

– Ты Пушкина хорошо читал, – вовремя пришла на помощь Бэлочка, – моей маме понравилось.

– Я твою маму и раньше видел, – сказал Сережа, – она к нам приходила… У тебя мама красивая, – добавил он, неожиданно для себя смело.

– Влюбился? – ответила Бэлочка на его смелость еще большей.

Сережа растерялся и не знал, что сказать: соврать, засмеяться небрежно или признаться, что действительно был влюблен.

– В мою маму все мужчины влюбляются, – сказала Бэлочка.

Сереже стало приятно, что Бэлочка и его тоже причислила к мужчинам, и он сам, не понимая, что делает, как бы наблюдая за собой со стороны, положил ей руку на левый бок у полного бедрышка, прощупав под белой, шуршащей материей какие-то косточки, какие-то завязочки, какие-то узелки. Тогда Бэлочка подалась вперед, прижала свой мягкий животик к Сережиному животу, уперлась обеими ладошками в его грудь и из этого не совсем ловкого положения несколько раз поцеловала Сережу в губы своими липкими, сладкими от яблочного пирога губками. В это время по коридору кто-то прошел и, видно, услышал за вешалкой шуршание и, может, даже звуки поцелуев, потому что остановился и повернул голову к вешалке, как это делал недавно Сережа. Бэлочка, распираемая смехом, прижала одну свою ладошку к своему ротику, а второй, мягкой, теплой ладошкой закрыла Сережин рот. Силуэт постоял в коридоре и пошел дальше к туалету. Но тут Бэлочка не удержалась и выпустила из-под своей ладошки короткий, визгливый, похожий на поросячье хрюкание смешок. Это так развеселило Сережу, что он тоже хрюкнул под теплой Бэлочкиной ладошкой, тем более что узнал в силуэте Алика Саркисова. Когда посрамленный Саркисов скрылся в туалете, Сережа и Бэлочка выбрались из-за вешалки и побежали в комнату, присоединились к поющему под аккомпанемент Мери Яковлевны хору.

Солнышко, солнышко, погляди в оконышко.
Выйдут детки погулять, будут прыгать и играть…

А на прощание, перед тем как веселые возбужденные дети стали расходиться по домам, Мери Яковлевна с чувством спела «Колыбельную», пластично выпевая каждое слово красными губами.

Спи, мой дружок, вырастай на просторе,
Скоро промчатся года.
Смелой орлицей под ясные зори
Ты улетишь навсегда.
Даст тебе силу, дорогу укажет
Сталин своею рукой.
Спи, мой воробушек, спи, мой дружочек,
Спи, мой звоночек родной.
Ля-ля-ля-а-а-а…

И все разгоралось, все разгоралось, все светлело в Сережиной душе от этих убаюкивающе-торжественных звуков.

Позднее, возвращаясь с отцом домой по заваленным снегом белым, праздничным, новогодним улицам, Сережа жмурил глаза, отчего городские огни длинными лучами брызгали в разные стороны, глубоко дышал вкусным снежным воздухом, и временами радость, распиравшая его грудь, была так невыносима, что хотелось громко, бессмысленно закричать, как кричат от боли, которую невозможно терпеть.

– Папа! – необычно громко произнес, почти закричал Сережа.

– Что, Сережа? – спросил Иван Владимирович.

– Какой хороший сегодня вечер, – сказал Сережа, шумно, беспокойно дыша и лихорадочно блестя глазами.

«Мой сын впервые в жизни по-настоящему влюблен и счастлив», – подумал Иван Владимирович.

Ему вдруг стало грустно и вспомнилась покойная Сережина мать, когда он впервые встретился с ней, молоденькой, семнадцатилетней девочкой, почти ребенком, беспокойным, чистым и восторженным, таким же как Сережа. «Можно ли было тогда предугадать, что случится потом? – думал Иван Владимирович. – Что мы вообще можем увидеть своим близоруким, рассеянным оком? Тут важно людям моего опыта и моего возраста сдержать эгоистическую гордыню познавшей, неудовлетворенной души и не отравить чужой свежести своими разочарованиями, своим мрачным полетом фантазии».

««Дождя отшумевшего капли», – вспомнил Иван Владимирович романс, который часто пела Мери Яковлевна. – Да, отшумевшего… В звуках отшумевшего – утешение. «Утешься, не сетуй напрасно, то время вернется опять». Вот оно и вернулось – для Сережи».

И теплое, нежное чувство к сыну, к своему впервые по-настоящему влюбленному, счастливому мальчику заглушило пробудившуюся было жгучую печаль, гордыню личного горя и личных разочарований.

2

Зимним днем – в иную уж зиму, пятнадцатую для Сережи и четырнадцатую для Бэлочки, – в первый день школьных каникул Бэлочка и Сережа решили пойти на каток.

Всё было белым в тот день, и от того, что не блистало солнце и не было ветра, тихая эта белизна тускло, однообразно, без отсветов, покойно лежала на всем: на березах, на протоптанной в снегу тропке меж ними, которая вела к речному берегу, терявшемуся под ровной снежной пеленой. Заречная даль размывалась белым маревом, и низко нависало такое же однообраз-

ное, как снежная целина, несолнечное, тусклое небо. Единственным поблескивающим пятном был каток – участок, очищенный от снега, недалеко от лодочной станции «Торпедо», от дощатого барака с белым спортивным флажком на крыше, от вмерзших в лед лодок. Заведующий лодочной станцией и катком Костя Кашонок, кумир местных подростков с железным профилем сверхчеловека, возился у дощатого барака вместе со своим подручным Афонькой Обрезанцевым – что-то прогревали, стучали железом о железо, наполняли морозный воздух металлическим грохотом, смехом и матом. Из-за морозной погоды каток был пуст, только какой-то пожилой человек в сером свитере, обтягивающем костлявые плечи, и такой же серой шапочке, заложив руки за спину, вычерчивал по льду круг за кругом.

– Это кто? – кивнул Афонька в сторону Бэлочки, когда Сережа подошел, чтоб взять напрокат коньки. – Твоя маруха?

– Моя.

– Хороша, – кивнул Афонька Кашонку на стоявшую в отдалении Бэлочку, действительно очень красивую в своей рыжей беличьей шубке и белой пуховой шапочке на темных волосах.

Хоть Сережа давно уже не общался с Афонькой, но закон улицы помнил: о девочках надо было говорить залихватски легко и по-хулигански весело – и потому заставил себя улыбнуться. Но когда, взяв коньки, он подошел к Бэлочке, она вдруг с интересом, весело улыбаясь, спросила:

– Что Ванька про меня говорил?

– Не Ванька, а Афонька.

– Ну, пусть Афонька… Что он про меня говорил?

– Шутил паскудно… Пойдем кататься.

То, что Бэлочка так улыбалась, неприятно взволновало, ибо казалось, что своей улыбкой она как бы кокетничала с Афонькой.

Те физические и психологические перемены, которые произошли в Сереже и Бэлочке, были естественны, но у Бэлочки, росшей в семье невропатической и при изнеженном воспитании, все началось ранее срока – и менструальный цикл, и вопросы о деторождении…

О деторождении она начала расспрашивать лет этак после восьми и так настойчиво, что даже напугала Мери Яковлевну. Поразмыслив и посоветовавшись, Мери Яковлевна решила, что от этих вопросов надо отделываться отговорками или начинать ответ длинными, скучными фразами, которые должны надоесть ребенку прежде, чем речь дойдет до сути. Так она и поступила, но ответы ее лишь создали в психике дочери манящую, таинственную область. И это Бэлочкино напряжение, это Бэлочкино воспаление передалось также Сереже.

К тому же отец Сережи был еще не стар, вдов и его как гинеколога часто посещали женщины, проходили в кабинет, за запертую дверь которого Сереже давно мечталось поглядеть. Вход в отцовский кабинет самостоятельно, без присмотра был ему запрещен даже и в неприемные часы. Во-первых, потому что там хранился табак, а во-вторых, из-за определенных книг, стоящих на полках. Уходя на работу или в иное место, Иван Владимирович всегда запирал дверь кабинета на ключ. Второй ключ хранился у Настасьи, аккуратно исполняющей свои обязанности преданной отцу надзирательницы. Так уж, однако, случилось, так уж должно было случиться, что Настасья, убрав однажды кабинет, забыла запереть дверь, поскольку ее позвала соседка по какому-то делу. Длилось это недолго; минут пять Настасья поговорила на лестничной площадке с соседкой, но и пяти минут оказалось достаточно для Сережи, вбежавшего на цыпочках в кабинет и начавшего шарить на столе, а затем и на полках в поисках табака. Шаря и прислушиваясь, не идет ли Настасья, он случайно зацепил и сбросил на пол толстую в зеленом переплете книгу. Книга при падении на пол раскрылась, и Сережа прочел название, написанное старинной вязью: «Строение половых органов». Так и не найдя табака, но зато схватив книгу, Сережа выскочил из кабинета.

Если б речь шла о современной медицинской книге, о каком-нибудь медицинском, гинекологическом справочнике, которым отец постоянно пользовался, то пропажа бы обнаружилась быстро. Толстый зеленый том, сам, как созревший плод, упавший к Сережиным ногам, был, однако, старым антикварным изданием, книгой французского анатома семнадцатого века Рене де Граафа, впервые давшего подробное анатомическое описание мужских и женских половых органов.

«Мужской половой член, – читали совместно, голова к голове Сережа и Бэлочка, – состоит из пещеристой ткани, содержащей множество широких кровеносных сосудов, сильно наполняющихся кровью во время эрекции». Здесь же изображался этот мужской половой член в разных видах – проекциях, сбоку, сверху, снизу, аккуратно вычерченный, как в геометрии.

Дело происходило в Бэлочкиной комнате, где Сережа и Бэлочка часто готовили вместе уроки. Бэлочка училась посредственно, и Сережа, который учился хорошо, помогал ей, особенно в решении задачек. Они и сейчас разложили учебники, раскрыли тетради, которыми приготовились в случае опасности прикрыть запретную книгу. Опасности, однако, не предвиделось. «Дождя отшумевшего капли, – доносился из столовой голос Мери Яковлевны, которая пела свой любимый романс, – тихонько по листьям текли, тихонько шептали деревья, кукушка кричала вдали».

– У мамы меланхолия, – шепотом сказала Бэлочка. – Я слышала, как она ночью вставала и пила капли. У тебя, Сережа, бывает меланхолия?

– Не знаю.

– Бывает, бывает… И у меня бывает. У всех бывает. Знаешь от чего?

– От чего?

– Не скажу, – кокетливо улыбнулась Бэлочка.

– Нет, скажи, скажи. Ну скажи, Чок-Чок.

– Сам знаешь, – Бэлочка засмеялась своим возбуждающим, болезненно-лихорадочным смехом и ткнула пальчиком в схемы половых органов.

«Не знаю, была ли в те годы душа непорочна моя, но многому б я не поверил, не сделал бы многого я…» – пела Мери Яковлевна.

– У мамы неудача в личной жизни, – сказала Бэлочка, – она, бедная, страдает.

И действительно, меж Мери Яковлевной и Иваном Владимировичем какое-то время уже не ладилось, наступило охлаждение, и теперь речь шла вообще об окончательном разрыве, подтверждением чему служил тот факт, что Мери Яковлевна обратилась по женским своим делам к другому гинекологу. Тем не менее Сережа продолжал приходить к ним в дом, и Мери Яковлевна это терпела, хотя, будучи женщиной эгоистичной и пристрастной, она подумывала, как покончить с подобной слишком затянувшейся дружбой. Дети выросли, стали подростками, и как бы от такого постоянного, тесного контакта чего-либо не случилось непоправимого. Тем более учитывая Бэлочкины пристрастия, Бэлочкину нервную систему… Еще в раннем детстве невропатолог, осматривавший Бэлочку, узнав о ее ночном недержании мочи и прочем, посоветовал мероприятия, способствующие закаливанию организма, а также содействующие ограждению половых органов ребенка от раздражений. При последующих осмотрах озабоченный невропатолог советовал также беречь девочку от дурных примеров и влияния и, между прочим, «от чтения известных романов и вообще подобных книг». Посоветовал невропатолог показать девочку также опытному гинекологу, учитывая ранний приход менструального цикла. Мери Яковлевна собиралась уже показать Бэлочку Ивану Владимировичу, но отношения их все более ухудшались. Прежде, пока отношения эти еще были сносными, она пробовала все же поговорить с Иваном Владимировичем о слишком затянувшейся дружбе Бэлочки и Сережи, которая, судя по некоторым признакам, может дурно кончиться. Но Иван Владимирович, конечно же, не понял ее.

– Ты, Мери, хочешь, чтоб вместо нормального, естественного развития полового инстинкта дети перешли к ущемленным болезненным фантазиям?

– От фантазий, даже болезненных, нельзя забеременеть, а от естественного полового инстинкта – можно…

Мери Яковлевна намекала на взволновавшую город беременность пятнадцатилетней девочки Ларисы Бизевой, цыганки, учившейся в Бэлочкиной школе.

Лариса закопала портфель с учебниками на пустыре и сбежала со взрослым тридцатилетним цыганом. Вернулась она спустя три месяца, беременная, причем беременность была тяжелая и потребовалось кесарево сечение для спасения жизни роженицы. Ребенка также удалось спасти, но он родился уродом. Иван Владимирович был хорошо знаком с подробностями этого дела. Конечно, меж этим происшествием и дружбой Сережи с Бэлочкой было мало общего. Однако определенное беспокойство от тесного общения Сережи, мальчика эксцентричного, как и его покойная мать, с девочкой чувственно-нервной, способной к бурным реакциям даже на незначительные раздражения и с, безусловно, неустойчивой, ненормальной половой возбудимостью, испытывал и он. Он сам хотел предложить Мери Яковлевне осмотреть Бэлочку, но потом передумал. «Лучше пусть это сделает кто-либо посторонний, а не я, отец Сережи. И в конце концов, – любовь это или что иное – кончиться оно должно само, изнутри, как кончаются многие отношения меж подростками. Вмешиваться извне жестоко и опасно».

Так думал Иван Владимирович, но Мери Яковлевна думала иначе, думала противоположно и давно б уже вмешалась извне, если б не знала свою Бэлочку, не знала ее упрямства, не знала ее привязанности к Сереже. Она чувствовала, что простой запрет, без всякого повода, ни к чему не приведет, поэтому искала повод. И вот повод нашелся. Мери Яковлевна заметила, что, готовя вместе с Сережей уроки в своей комнате, Бэлочка с некоторых пор стала запирать дверь. И в присутствии Сережи Мери Яковлевна сделала Бэлочке выговор, предупредила, что если еще раз заметит запертую дверь, то их совместные уроки прекратятся.

Поэтому, читая сейчас книгу Рене де Граафа «Строение половых органов», Бэлочка двери не заперла, но приготовила множество бумаг, чтоб прикрыть книгу. «Влагалище, – читали Сережа и Бэлочка, – часть женских половых органов, принимающая при совокуплении мужской член. У входа во влагалище полулунная складка – девственная плева. Большие срамные губы и малые срамные губы окружают срамную щель, в переднем углу которой находится клитор…»

«Теперь же мне стали понятны обман, и коварство, и зло, и многие светлые мысли одну за другой унесло…» – пела Мери Яковлевна в столовой.

Бэлочка, однако, не знала, что Надя, приходящая домработница, послана Мери Яковлевной босиком, чтоб тихо ступала, под дверь Бэлочкиной комнаты.

– Что? – шепотом спросила музицирующая Мери Яковлевна Надю, когда та явилась для доклада.

– Зеленую книгу читают, – тоже шепотом ответила Надя.

– Какую зеленую?

– Толстую.

Этого было достаточно. Не готовят уроки, а читают какую-то толстую зеленую книгу! Однако то, что оказалось у Мери Яковлевны в руках, когда она, надев вместо туфель мягкие домашние тапочки, внезапно вошла, превзошло самые худшие ожидания. Вначале Мери Яковлевна просто оцепенела, но, обретя дар речи, обратилась прежде всего не к Бэлочке, а к Сереже.

– Это вашего отца книга? – спросила она сдержанно, вежливо, на «вы» и оттого особенно зловеще.

– Не отвечай ей! – нервно выкрикнула Бэлочка.

– Да, моего отца, – ответил Сережа, потупившись.

– И он разрешает вам читать подобные книги?

– Разрешает, разрешает, – нервно вмешалась Бэлочка.

– Нет, – глядя на ковер, тихо ответил Сережа.

– Книгу я найду способ передать вашему отцу сама, – сказала Мери Яковлевна. – А вы, Сережа, больше не должны приходить к нам в дом и вообще общаться с Бэлочкой!

Затем, повернувшись к Бэлочке, другим уже, домашним тоном, хоть и при Сереже еще, наверняка умышленно при Сереже еще, выкрикнула:

– Я запрещаю тебе встречаться с ним! С этим уличным подростком… Слышишь, мерзавка?!

Сережа ушел подавленный и униженный, плачущую Бэлочку заперли в ее комнате, а Мери Яковлевна приняла таблетку от головной боли, приняла успокаивающие капли и, бледная, отчего ярко накрашенные губы ее казались совсем уж кроваво-пунцовыми, легла на диван, тем более что чувствовала себя она последнее время вообще дурно из-за женской болезни. Ей точно воздуха недоставало, и она дышала шумно, жадно, а по щекам ее текли тихие слезы. «Вот так, – думала Мери Яковлевна, – вот так!.. Вот и допет последний куплет… Везет лошадка дровеньки, а в дровнях мужичок, срубил он нашу Бэлочку под самый корешок… И я, я в этом виновата… Не она, а я, мерзавка…»

Опять сильно болел живот. Некоторое время тому у нее ночью уже случался приступ сильной боли в животе. Врач «скорой помощи» предположил аппендицит. В больнице диагноз первоначально подтвердили, но Иван Владимирович, который, к счастью, дежурил в тот день, определил не аппендицит, а эпидимит – воспаление придатков. Ее подлечили, стало легче, и вот опять, наверно, на нервной почве острая боль в том же месте! К вечеру началось и кровотечение. В прежние времена она всегда в таких случаях звонила Ивану Владимировичу, но теперь отношения меж ними сошли на нет. Она слышала, что у Ивана Владимировича появилась какая-то восемнадцатилетняя любовница, медсестра роддома. Да и у Мери Яковлевны появились иные интересы. Вместе с новым заведующим кафедрой дошкольного воспитания Ефремом Петровичем Ляшенко, мужчиной уже немолодым, но крепкого сложения и высокого роста, она собиралась писать работу на тему «Опыт ребенка как вспомогательное средство педагогики». Уж был готов договор в республиканском издательстве, где у Ефрема Петровича имелись связи, ибо прежде он как раз в этом учебно-педагогическом издательстве занимал должность главного редактора. Из республиканского города Ефрем Петрович, как слышала Мери Яковлевна, уехал по личным, семейным обстоятельствам, разведясь с женой после того, как они отпраздновали серебряную свадьбу, окруженные тремя взрослыми детьми и пятью внуками. Такое могло создаться впечатление, что Ефрем Петрович – человек эгоистичный и безответственный, а меж тем, по мнению Мери Яковлевны, был он добр и деликатен, без всякого неприятного острословия, чем отличался Иван Владимирович. Вспомнилось, как в одном из последних разговоров, когда Мери Яковлевна поделилась своим беспокойством относительно опасных отношений его Сережи с ее Бэлочкой, он объявил, что у нее просто необоснованные предрассудки, чрезмерные требования и преувеличенный педантизм.

– Дело не во мне, не в моем характере, – пыталась сдержать себя Мери Яковлевна. – Я хотела бы посоветоваться, что нам делать с нашими детьми.

– Давать им поменьше перца и уксуса, – сказал Иван Владимирович.

– Ты опять шутишь, и опять некстати.

– Отчего же? Половое созревание сопровождается слабостью пищеварительного аппарата. Надо исключить также чай, кофе, само собой, вино. – Он хотел обнять ее за плечи, но она отстранилась. Она уже тогда слышала о молоденькой медсестре из роддома.

– Если ты, Иван, отказываешься предпринять совместные действия, то я приму свои меры. Поступай со своим сыном как тебе заблагорассудится, я же думаю о своей дочери. Пусть тебе безразлична судьба Бэлочки, но чтоб отец был так безразличен к судьбе собственного

сына!.. Или для тебя важнее всего собственные удовольствия, собственное половое разнообразие как с вдовами, так и с молодыми девицами?

Последние слова, особенно намеки на молодую медсестру, новую любовницу Ивана Владимировича, Мери Яковлевна пыталась удержать, еще за секунду до того была уверена, что не скажет, как бы ни была раздражена. Однако не удержалась, однако сказала.

– Ты, Мери, – медленно, торжественно, как говорят оскорбленные люди, пытающиеся сохранить свое достоинство перед оскорбителем, начал Иван Владимирович, – ты, Мери, болезненно раздражена, и я имел бы право оскорбиться твоей бестактностью, если б не был твоим гинекологом и не знал причин. В твоем отношении к дочери есть элемент извращения полового чувства, достаточно подробно описанный немецким психологом Эбингом наряду с уранизмом, лесбосской любовью и прочим подобным…

Этот разговор окончательно предопределил их разрыв. И сейчас, лежа на диване, Мери Яковлевна, несмотря на болезненное состояние, с мстительным наслаждением думала, как воспримет Иван Владимирович историю с книгой «Строение половых органов».

В тот же вечер книга была послана с Надей и передана лично в руки Ивану Владимировичу. К книге была приложена записка, сухо и коротко излагавшая суть дела и требовавшая, чтоб дурно воспитанный сын Ивана Владимировича более не посещал ее, Мери Яковлевны, дома и не встречался с Бэлочкой.

Вопреки надеждам Мери Яковлевны, Иван Владимирович, однако, быстро справился с порывом отцовского гнева, первоначально действительно им овладевшего.

«Тут не мудрость нужна, не святость, а терпение, – думал Иван Владимирович, глядя на своего сына, которого призвал в кабинет для разговора. – Он уже не мальчик, а молодой человек и с возрастом все более становится похож на меня; только глаза как у матери».

– Здесь, в записке, Мери Яковлевна требует, чтоб ты больше не встречался с Бэлочкой.

– Мы будем встречаться, папа! – сказал Сережа.

– Я это понимаю… Вы можете даже встречаться здесь, если захотите.

– Спасибо, папа! – обрадованно воскликнул Сережа.

«В конце концов, мой либерализм – мера вынужденная, впрочем, как всякий либерализм, а потому – единственно возможная, – подумал Иван Владимирович. – Ремнем его уже не отхлестать. Может, надо было раньше, а теперь уже поздно. Угрозы только вызовут в нем злобность и раздражительность».

– Ты, однако, понимаешь, дружище, – сказал Иван Владимирович, стараясь придать своему голосу побольше холода и строгости, – ты, однако, осознаёшь свой проступок?

– Осознаю, – сказал Сережа, подыгрывая отцу в их общей попытке найти разумный выход из неприятной ситуации.

– Я уж оставляю в стороне сам факт заимствования тобой – не хочется употреблять слово «кража» – заимствования чужой книги. Но что, интересно, ты в ней нашел? Тебе было интересно?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.